

ЧИТАЙТЕ

СТИХИ И ПРОЗА

*Михаила Генделева, Демьяна Кудрявцева,
Дмитрия Дейча, Пети Птаха,
Евгения Гельфанда, Давида Дектора,
Алекса Муха, Дины Альперович,
Натальи Бершадской, Татьяны Ахтман,
Анны Резницкой, Г. Д.*

ГУТТАПЕРЧА

*Отрывок из романа Йозля Хоффмана
в переводе Виктора Купермана*

ИНТЕРВЬЮ

с Юрием Шевчуком

О ЦЕНТОННОЙ ПОЭЗИИ

Статья Анны Герасимовой

ОТКЛИКИ И РЕЦЕНЗИИ

на стихи, прозу, музыку

СМОТРИТЕ

РАБОТЫ

*Татьяны Шеханиной, Станислава и Мирона,
Александра Зелинского*

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

*Автобиография и эссе Милорада Павича
Переводы из Пауля Целана
Письмо Владимира Диксона Джеймсу Джойсу
Рассказы Нины Сагур*

СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

№ 3

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ

כתב העת נוסף ע"י המרכז לקליטת אומים שונים



1998

ИЕРУСАЛИМ ИЕРУСАЛИМ ИЕРУСАЛИМ

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ



Йозель Хоффман
ГУТТАПЕРЧА

(Отрывок из романа)

Клод Моне (и это видел Ги де Мопассан) писал пейзаж с дождем. Он (то есть, Клод Моне) протянул руку, зачерпнул из него полную пригоршню и плеснул его (настоящий дождь) на холст картины.

1

В одна тысяча девятьсот сорок седьмом или одна тысяча девятьсот сорок восьмом моему отцу было приказано идти на "Наполеонов холм" вместе с господином Габизоном, владельцем фабрики бюстгальтеров. Там он получил винтовку чешского производства и был отправлен в арабскую деревню Хирия сторожить дома.

2

Круглую фигуру отец увидел на полдороге к Хирии. Он протянул свои предплечья вниз (к воде), то ли вверх, пока суставы его не ослабли и руки не сошлись вдалеке. Он обогнул ее двумя ладонями.левой и правой. Большой палец указательный палец и может быть еще палец с тыльной стороны и другие пальцы с внутренней стороны и сказал Луиза ду бист бласт¹.

3

Три женщины было отцу моему:
передняя женщина
задняя женщина
верхняя женщина

4

Однажды против него стояла лошадь. Отец погрозил ей рукой - ша, ша. Но лошадь тронулась шагами вальса: раз. Два-три. Раз. Два-три. И мой отец, пона-

¹ Луиза, ты бледна.

чалу желавший отступить, стал следовать за ней. Раз. Два-три. Раз. Два-три. В совершеннейшей точности. В зеркальном отображении.

5

Отец моего отца натягивал скрытые нити и внутрь светового обвода электрической груши заводил прозрачную ящерку. Поднесешь палец к лицу, ящерка исчезнет. Повернешь направо или налево, ящерка развернется. Это была его настенная роспись.

6

Отец отца моего отца был бондарь (то бишь, делал бочки). Но по его фотографии ясно, что он натягивал бочарные ободья на тела деревьев, как в те времена натягивали корсет. *Он* родил отца моего отца. Отец моего отца родил моего отца. А мой отец родил меня.

7

В тот год (год Бен-Гуриона) с балкона на улице Бялика, глаголящего истинно (Притчи 22:21 или 22), взметнулись голуби. Те два голубя, что там были. Другие два. Еще пятьдесят. А вместе шестисот. Или девятьсот (или тысяча и один) голубей.

8

Отец вернулся в Рамат-Ган. Он принес с собой:

1. нож.
2. голубое блюдце.
3. карту мира на аравийском языке (из нее следовало, что скала Гибралтара касается Таньдже. Море замкнуто. И океан можно разглядеть только, если дойти до края вод и встать на цыпочки).

9

Вместе с моим отцом и господином Габизоном пошел и доктор Бухштаб. Доктор Бухштаб поставил зубосверлильную машину с кожаными приводами и подъемными колесами у лодочника, господина Бабаефа. Господин Бабаеф макал ломоть хлеба в речку Яркон и вытаскивал из воды четыре рыбины или пять рыбин.

10

В запонках доктора Бухштаба водилось рыбье тело. Зубы же (то есть, зубы рыбы) виднелись на его руках. Он смешивал клейкие материалы и производил починку сломанных частей. О нем можно сказать: за время войны практика его расширилась. Он зажигал огромный прожектор над эвкалиптами.

11

В небе, может, был один всего "спитфайер". Господин Бабаеф - тому доказательство. *Он* установил сущность неестественного грома. Гром и отпечаток ежевики на спине господина Габизона. Таковы были два знамения Войны за Независимость: как глас толпы в Лурде и кровавые слезы, текущие из каменных глаз девы Марии.

12

Когда думаешь - рисунок мысли (например, "ахна") проступает на коже темени.

13

Когда идешь назад - колокола звонят.

14

Первый доктор Рамат-Гана пошевелил ушами. Он сидел на осле, подаренном стационару - да один хвост дороже стоит!
- Тахой Камель Нацараллой.

15

Доктор Золотов спал, а осел размышлял о Мессии. Он воображал его подобием Альберта Швейцера: вечерней поликлиникой для аравийских ослов. Когда уходят сестры. Он играет чакону Баха на клавишах дома профсоюзов (и шкафы подвывают).

16

Хуго Тугенхафт стоял внаклонку. Возможно, из-за ветра. Он был толкователем явлений. Алеф. Он знал, что природа - явление. Бет. Он ведал причины. Гимель. Его лицензия на адвокатскую деятельность была пригодна только для Австрии.

17

Причины, известные Хуго Тугенхафту, были двух типов: внешние и внутренние. Он знал, например, причины хамсина. Он видел различия между этимологией слова и самим явлением. Он изучил химический состав пищи. Когда пища спускалась по его пищеводу, он знал, какие кислоты ее растворяют. Каково химическое наименование всякого элемента. Какова соответствующая формула.

18

В одна тысяча девятьсот тридцать шестом облако цветочной пыльцы покрыло Рамат-Ган. Хуго Тугенхафт укутался пыльцой и дошел, как говорится, до грани разумения. Он увидел Хуго Тугенхафта (то бишь, самого себя) в магазине гардин, с другой же стороны витрины Хуго, тот, что снаружи, видел Хуго, того, что внутри, стоящего снаружи, стоящим внутри... Горестные долговязые фигуры множились.

19

Любой мог бы поклясться жизнью своей и утверждать, что в виду имелось отражение. Циферблаты (небрежность просочилась и во время) являли картину порнографическую. Меж стакнутыми словами стоял эротический дух. Отец моего отца впустил ящерку вовнутрь круга света и провел сверху от него. До верхнего балкона. За цветочными горшками. Сидела Левитас Сара.

20

Она вязала Хуго свитер. Каждая петля. В каждом движении спицы таился абзац. Не о причинах и процессах. *О фактах. Кто сказал что, когда и сколько.*

Силы ее питались пыльцой дикой редьки. Ее здравого смысла хватало и на летний сезон тоже. Если б ее распорили (Сару Зовому Ниагарой). Той весной стало бы известно, что мир создан посредством окисления речи. Что порождающая стихия - это шерстяная пряжа. А вечный ткач - женского рода.

5

21

Нефть дорога, а паук далеко. Хуго Тугенхафт расправляет перину и укладывается в постель.

Он видит гусиные сны. Человек поет. Его голос глубок. Голова склоняется до полу. Он (то есть, Хуго) слышит эту песню, и нагая женщина лежит с ним рядом. Человек снимает маску гуся с лица, вынимает из нее камень и повествует о том, на сколько дней он застыл, размышляя о ее форме, покуда та не превратилась в свою первооснову.

22

Доктор Золотов поехал в Бааль-Бек. Дамаск. Плавающий цилиндр на рыночном возвышении. Ослы в своей высокой умудренности знают, что седалище доктора Золотова (кнопчиком) касается рубежа истинного мира. Перегородка между двумя мирами просматривается ясно. Плоть, заслужившая милость. Плоть проклятая. Капилляры. Перекрестья нервов под цилиндром и отвратное глашатайство от станции к станции.

23

"Археология", поле с мраморными капителями ("все, что осталось от снов воинов"). Аппендицит временных заметок. Post mortem и горные хребты. Обводы ЭКГ (диагноз: extra cistula). И Муцтафа.

24

Гид. В Бейруте доктор Золотов выпил бутылку шампанского. Каждая деталь была к месту. Время походило на светляка, укrywшегося на луне. Он, как-то искаженно, припомнил час своей смерти и вывеску ("Здесь говорят по-норвежски") на мясной лавке.

25

Время пошло на пользу мальчику Йехизлю Перльмутеру. Он сидел в Красноставе на водяном колесе мельницы. В его поэтическом мозгу искрились жемчужины. Не то что б он не-думал про Палестину. Он думал. Но еще до той мысли, в его жемчужном мозгу, равном госбюджетам Польши и Германии, были мысли о других вещах:



о его убиенном, Татэ.

о его убиенном, Зейдэ.

о его убиенной Мамэ.

Как все его любили!

Скажем так: мальчик Йехиэль Перльмутер - жемчужный детский мозг, сидел на самом большом водяном колесе Красностава.

26

Это - С.О.Д. Большой. Буквы "сода" - сид, вай и думия. А если думия - слово, слишком кричащее для такого тельца, то, наверное, *делет*. Может, дверь мельницы. В "сид.вай. делет" можно и поиграть. Сид сжигает вай. Вай съедает делет. Делет гасит сид - и конец.

27

В одна тысяча девятьсот сорок первом Хуго Тугенхафт женился на Ниагаре. Доктор Золотов пришел на свадьбу тоже. Ниагара сама приготовила все сэндвичи. Она разрешила буханки на тонкие ломтики и намазала каждый ломтик (по закону сообщающихся сосудов) маргарином "Блю-Банд" и вареньем.

28

Ночью кто-то включил фонари в саду. Виднелся Хуго Тугенхафт, клонящийся, как Пизанская башня, к входной двери. Плиткам и сэндвичам не было объяснения. *Наоборот*. Было не-объяснение. Кто-то (возможно, мой отец) сказал "сейчас" на иврите времени мандата, и возражений не последовало.

29

Доброе утро, господин Тирас. Как пришлась тебе Вторая мировая война?

Из Терезинштадта вернулся Шломо Тверский. У *него* было два блокнота. В одном блокноте он записывал имена (например, Хаим Спектор - ноль). Во втором запечатлевал заметки (например, впечатления луны от окружившего ее пустого пространства).



30

Зачем ему было преподавать Танах в шестом классе? Вол, знающий владельца своего, объел цветы герани (а осел - ее листья)².

31

Ясное дело, у него было радио с антенной. Он поставил его в угол. Угол подумал он, прикроет радио, а радио прикроет угол.

32

Он был человеком крайне гордым (если он еще жив). Он знал один фокус. Стирать рубашку одной рукой. Он замачивал ее, и полоскал, и подвешивал, не пользуясь второй рукой.

33

Следует нарисовать геометрическое место точек оттуда, где стоял отец Стеллы, когда швырял тапки, - по надземной траектории - до кустов. Воздух ударил со звуком гитарной струны.

Если б она вернулась в десять. Час, когда он закрыл ворота. Он бы не отправил свои шлепанцы на полнощную прогулку.

Натан Фирст сбежал. Но его любовь к Стелле Москович осталась стоять справа от ворот. Абстрактная фигура любви, лишенная высвободившегося любовника и брошенная у кустов.

34

Позже господин Москович вскричал: "ду бист а курве"³. Он имел в виду неэвклидову линию. Опасную кривизну. (В те дни стало известно, что параллельные линии все-таки пересекаются.) Стелла Москович была очень красивой девочкой. Она наслала на Рамат-Ган тот великий снегопад одна тысяча девятьсот пятидесятого.

35

Над Красноставом было солнечное пятно. *Это записано*. Не записано, был ли там синема. Том и Джерри в предвоенной Польше. Кот перекрестился и идет гнаться за мышью. Да и мышь крепка, как Хмельницкий.

Если в Польше случались такие залы, то должны были быть и трехмерные птицы между балками крыш. Одна маркиза, приехавшая из Варшавы посмотреть на Тома и Джерри, вытянула длинную шею и порвала жемчужную нитку.

36

Что означает: "Дай мне фурферу"? Можно ли так вот запросто сказать: "Дай фурферу"? Как это вообще возможно?

Требуется: алеф. Сотворить мир. Бет. Подождать. Гимель. Отыскать фурферу и двух детей. Далет. А далета никто не знает. Что будет, если дети станут говорить что-нибудь другое. Не: "Дай мне фурферу"?

²Парафраза из книги Исайи (1:3).

³Ты - курва. В немецком Kurve имеет два значения: "шлюха" и "дуга, кривая".

37

Поскольку у земного шара нет опоры, он держится на зонтиках.

Когда Ицхак Эмерих, владелец ящерики, умер, все увидели, какой силы был удар. Его рот раскрылся. Все габсбургское великолепие выплеснулось из тела единым движением огромного зонтикопарусного корабля. Воспоминания были вытаныты центробежной силой наружу - в тихое укрытие.

<...>

39

Покамест я упомянул одну только женщину, но в магазинах верхней одежды можно ведь отыскать и других женщин. Для каждой женщины есть то пальто, которое ей нужно. Представьте себе, что некий ребенок мешает вести урок, и учительница велит ему сто раз написать "то пальто, которое ей нужно". Разве не созреет такой ребенок раньше времени? Да в одну ночь.

40

О псе Хирша можно сказать: "С другой стороны, он выжил". Что он думал, падая с пятого этажа? Я - мексиканская розовая птичка, без перьев?

Как бы то ни было, Хирш, который на каждый пакет творога наценивал по грошу, любил свою собаку. Он поднял ее с тротуара и побежал по улице Кинг Джордж к ветеринару, доктору Готлибу, жившему на улице Клемент. Там он, лысый, стоял с мексиканской псиной на руках и кричал: "Доктор Клемент! Доктор Клемент!", как будто просил, чтобы улица положила собаку на операционный стол.

Перевод с иврита Виктора Купермана



Михаил Генделев

ГИМН

1

Ну
Боже Ты мой
Ты
крут
Порука Ты и Рука над Всем
Предвечный
Сержант израиля
ГрудьТвоя
колесом

2

кстати что кстати
катит
война
где нам ополчаться а Ты Военспец
и
если я правильно понял
нам
вот
именно
Молодец!

3

Что
Господи
Ты за Зверь
Сам
Самоед от Своих потерь
Ты есть
будь здоров от Своих даров
падали
полный
Рот

4

а судья
Жид ты Судия
Самосуд на Свой на Самонарод
народ по веревочке Твоей бежит
не от
от и до
а наоборот
а бздынь что струна дребезжит едва
звать на публике надлежит
гармонией существова

5

Существо
Он надмирное Он
говорит
в Нем
мы и живем
на манер аскарид
а кому
отпад как крутой закат
например
в облаках горит

6

ах горит закат в таких облаках
за нерукотворный что за небосклон
или
не кого благодарить
или
Некого
благодарить
или
низкий тебе поклон
зрительный нерв

7

Творец
Остроумец Ты без узды
ничего я не видел смешней
ну да
и
особенно
тонко
что
эта когда
ушла неведемо куда

8

так что
муку
от смеха
приняв за боль
а в Nature Ты в том числе Любовь
как я чисто натуралист
смерть
я хоть раз совершу с собой
лишь
из любопытства из

9

Предержатель Того Что Есть Низ и Верх
на все
Вуаля Твоя
Твой Иерусалим
номер первая верфь
прикола всякого корабля
только как бы не закричать земля
на халяву по воздухам валя
с землю в пасти и
скоро, бля

10

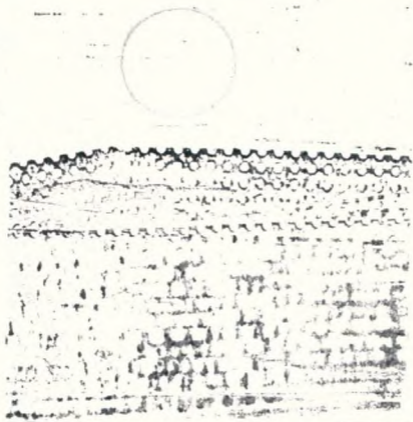
знаешь Боженька
папа когда умирал
очень мучился так
что доктора
говорили папа уходит в рай
Барух мой Ата Адонай
чем чан мой
нефритовый
зла / добра
порцией через край

11

и как червь сообщаю
ну Ты и Фрукт
Идеальный Свой Плод
сад и Падалица
что у ветки
вдруг из дырявых рук
Идеальный Плод Сам да и вывалится
предварительно правда зайдя на цель
как Бомбардировщик
над

Одинокий мой чем Ты заплел окно
 что не Ты Адоной а я так одинок
 один
 с Одиночеством
 на Один
 о не отворачивал бы Господин
 нюх
 от собаки старой у ног

Аллилуйя
 взгляд опусти Садист
 этот
 с дудкой
 на дне Твоего Двора
 и есть Твой покорный слуга горнист
 за что архангельское ура
 дай же мне Эло'им как давал другим
 за гораздо менее гимн
 более менее серебра.



Демьян Кудрявцев

САМСОН

Сон в руку
зубами льва
сам себе
собирая вещи
повторяешь слова разлуки
кое
либо
нибудь
едва ли
сон окажется вещим

может
львята чужой тоски
цвета моей земли
мне не долго лежать в пыли
разглядывая пески
называйте вещи своими для
всех уводя в поля
называйте вещи своими
или
памяти короля
и когда неवेशие
снятся сны
если есть еще
для своих один
то судите не с высоты седин
а с длины его седины

а далеких его
берегов Борей
до костров моих
егерей
и скорее я
до твоих ворот
чем ты до моих
дверей
и охота льву
на охоте льва

повторять слова от каких живу
чем длинней глава
тем короче грива
особенно наяву

не красота из пустоты
а просто
ты
горишь кустом
а это дом в котором дым
густой
в котором дом

от уголька твоей печи
закурим вражеской травы
где молодые львы
в ночи
следят полет совы
я сам себе пророчил сон
и гибель волосам
меня не рыжая сдала бойцам
короче
по обе стороны лица слепого
пса
цепного впрочем

ветер пустыни и тот на ощупь
снова колышет сад
и старости мясо заменят овощи
бросят соседи от страха ссать
ветер пустыни срывает крыши
вражеским городам
сон был
вещи собрал и вышел
тише травы когда
дальних его
берегов Борей
догонит моих зверей.



Вспомни дорогу на рамадан
да
загляни под платок старухе
лучшие руки - твои когда
это к разлуке
Выжить
не перейдя на крик,
белой дурью коль
засыпает пол
это видимость мира под ноль
старик
и под белый парик

Когда возьмет береговая
в глазок прицела города
я обещал вернуться целым
вопрос - куда

где вальс не будет гарнизонным
в канун войны
нас соберут не по сезону
чужой страны
где птица-дура петь забыла
за упокой
на кой ты мне сдалась на милость
одной рукой

С одной бумаги языки
у нас синели
с одной кровати мужики
в одной шинели
когда не по уставу выжить
но по Корану
что пропоет тебе
охрана -
октавой ниже

что пропоет рассвету взводный
читай: петух
я брал тебе Дамаск и Гродно
за два из двух
где неразменная монета
- считай: пятак -
а это ты дурак в ночи
идешь - молчишь без пистолета
где пел рассвет другого нету
подъем старух.

Мы писали дурные песни
на
языке врага
чем длинней пустыня
тем интереснее
ей
наставлять рога
что
ответит безумный каменщик
на
вопросы моей братвы
это любовь по песку пока еще
ходит нестроевым

думал на годы хватит
останется порошка
жизнь закончится на кровати
с видом белой стены на шкаф
сами вяжем себе на шею
белой шерсти платки старух
лучшие руки
- когда из двух -
в убегающие мишени.

Дмитрий Дейч
PERPETUUM MOBILE

(фрагмент)

Добравшись до страницы 135, а это стоило мне неоднократных героических усилий сосредоточиться на книге и, как говорится, "воздать ей должное", я впал, в конце концов, в по-настоящему глубокий сон.

К. Г. Юнг. Улисс

Воспоминания о событиях, не имевших места в действительности или, по крайней мере, не оставивших обратного адреса, воспоминания, которые следовало бы назвать *вспоминания*, - неопознанные блуждающие объекты постороннего опыта: лица, стоящие за иными лицами, осторожные шаги на лестничной клетке, не твои (и, возможно, ничьи) - как ни ревнуй к словам, все совершается вопреки суеверной привычке называть вещи *своим* именем: частным образом *предмет* сообщает имена неповторимые, частные. Записывая, мы наблюдаем тишину - в той степени, в какой изречение способно уподобиться давно ушедшему поезду, о котором только и можно сказать, что он присутствует здесь в качестве идеи собственного отсутствия.

Тем не менее мы обязаны предъявить список личного состава, технические характеристики двигателя, подробное описание фантика от конфеты, подаренной сыну машиниста пожилым господином, путешествующим бизнес-классом. (Запах ботинок, поставленных в угол купе, специфический внешний жест - рука, поглаживающая голову ребенка, и наоборот: сугубо внутреннее ощущение - запутавшейся в волосах улитки...)

Отсутствие поезда воспринимается как утрата данности: взамен не предполагается ничего - ни будки обходчика, ни ностальгического описания железнодорожного полотна, обсаженного кустарником. - *Здесь каждое предложение порождает ожидание, которое, однако, оказывается напрасным, так что смирившийся наконец читатель не только не ждет уже больше ничего, но к тому же ужас его положения еще усиливается по мере того, как до него доходит, что ждать-то ему действительно нечего*. Прижав ухо к невидимой рельсе, добравшись до страницы 135, он засыпает, свернувшись калачиком, повторяя про себя потаенные слова, то ли залетевшие из распахнутого окна поезда, то ли приснившиеся тотчас же: *"Муж, искусный в бою, - каменнорог, камнебород, и сердце его - каменное"...***

* Юнг.

** *A man supple in combat: stonehorned, stonebearded, heart of stone.* - J. Joice. Ulysses. 7.



*Но и во сне, когда жаждущий хочет напиться
И не находит воды, чтоб унять свою жажду,
Ловит он призрак ручья, но напрасны труды и страдания:
Даже в волнах реки он пьет и напиться не может.*

Лукреций

Известно, что книга - это сон, а сон - это книга, и тот, кто ее читает, ясно видит, что явь лишь нечаянно умножает череду сновидений, полагающих себя явью. Засыпая, человек погружается и всплывает, стремительно падает и воспаряет; считанные мгновения отпущены ему, чтобы разминуться с самим собой: время, о котором нечего сказать впоследствии, - как не укладывается в памяти шелест каждой из числа перевернутых страниц. Тень тени, читатель заглядывает в свои комнаты и даже видит себя издали, но никогда не входит, чтобы не нарушить и без того хрупкое равновесие со-бытия, и только непродолжительный (и всегда некстати) разрыв, *deja vu*, - с детства знакомое ощущение тяжести чужого взгляда на сомкнутых веках - означает, что осторожность все же изменила ему: кажется, теперь стоит совершить незначительное усилие, и все наконец прояснится, обретет былую прозрачность, но прежде чем эта смутная мысль успеет воплотиться, ее одолевает - забвение.

Остается сожалеть об упущенном или облегченно перевести дух; оправдываться, облекая свои оправдания в слова, настолько чуждые происходящему, что рано или поздно сами они обернутся в нашу сторону, превращая говорящего в объект насмешки языка. Однако гарантированное отсутствие *вещественных доказательств* позволяет нам отделить происходящее от его словесного описания, звучащего и продолжающего звучать как эпитафия к уже случившемуся - эпитафия, который *слеп к тексту****. Этот сдвиг порождает ощущение времени, он и есть - единственное налично данное нам время. Предшествуя событию и одновременно маркируя его постфактум как нечто ясное, подлежащее заключению в скобки, речь отстраняет себя от прямого участия. И лишь становясь самим текстом, самим действием, слово не пытается говорить о "чем-либо", но уже есть "что-либо". *В этом изначально двойном смысле, присутствующем внутри любой речи как еще не узанный приговор и еще невидимое блаженство, литература находит свой исток, ибо она - это выбранный самой речью способ возникать по ту сторону смысла и значения слов...*****

*** Екатерина Деготь

**** Бланшо



Петя Птах
ПОЭМА

*Мне захотелось записать посвящение Диме Дейчу:
"всю ночь они праздновали исчезновение авторов".*

Мне захотелось записать фразу:
"мы в преддверии огромной сюжетности".

Мне захотелось записать двестише:
"девушка кается,
пацаны всцыкаются".

Мне захотелось записать имена:
"дед Пихто и баба Тарахто".

Мне захотелось записать название животного:
"баран-гутан".

Мне захотелось записать содержание телеграммы:
"до вас дошло, что я почти генерал".

Мне захотелось записать наблюдение:
"я похвалил спички, и спички пытаются оправдать мою похвалу".

Мне захотелось записать стихи:
"vita activa
vita contemplativa
чувак тепла".



Мне захотелось записать название рассказа:
"мудацкий клоун".

Мне захотелось записать следующую историю:
"25.01.98, когда я рассказывал жене о студии с учениками,
которую я заслужил, я неожиданно понял, что отвратительно
возгордился".

Мне захотелось записать парафраз:
"мудацкий конь".

Мне захотелось записать восклицание:
"о, как прелестно сморкаться!"

Мне захотелось записать эпиграф:
"шуйца Аякса замлела"
(Ил. XIV 106. Пер. Н. И. Гнедича).

Мне захотелось записать эпиграф:
"не мог ни на миг он"
(Ил. XIV 110. Пер. Н. И. Гнедича).

Мне захотелось записать эпиграф:
"о землю звукнула, павши"
(Ил. XIV 118. Пер. Н. И. Гнедича).

Мне захотелось записать фрагмент критики:
"прочитанное заставляет подумать, что автор просто не знает
значения слова *смерть*".

Мне захотелось записать название документа:
"список из двадцати писек".

Мне захотелось записать, чтобы наконец запомнить:
"лицом вниз, навзничь - лицом вверх".



Мне захотелось записать большими черными буквами:

19

ХОЧЕТСЯ КАКАТЬ И ОНАНИРОВАТЬ

Мне захотелось записать таинственное название:

"упразднение ноготка".

Мне захотелось записать, за что вы, собственно говоря, должны считать меня поэтом:

"за то, что я умею называть плед Педрил Семенычем".

Мне захотелось записать фразу репортажного характера:

"участникам лотереи выдавали мифический постер (вариант: пончик)".

Мне захотелось записать то, что мне нашептал калорифер:

"художником надо уметь быть".

Мне захотелось записать на иврите:

"ХАОМАН РОЦЭ ШЕАНАХНУ ЛО НИГЬЕ".

Мне захотелось записать начисто:

"слюни изображают смуглых коней".

Мне захотелось записать фразу для стихотворения:

"прямо к нему в шоколад из города стратосфер".

Мне захотелось записать русскую поговорку:

"эта ворона нам не оборона".

Мне захотелось записать фразу поддержки:

"пока вы томились, о вашей любви сложились песни".

Мне захотелось записать большими черными буквами:

ГОСУДАРСТВУЕТ ГРАЧ

Мне захотелось записать из области культов и обрядов:

"у омовения рук есть особое качество
тешится им целая братия".

Мне захотелось записать фразу в моем стиле:

"был кандидат в жуки один ездок".

Мне захотелось записать фрагмент с декларационным привкусом:

"Кто не любил жуков? Введенский любил жуков. Волохонский,
я уверен, любит жуков".

Мне захотелось записать очаровательную банальность:

"язык - это средство прорывания оболочки".

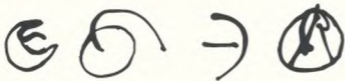
Мне захотелось записать имя революционера:

"Яха Чупайду".

Мне захотелось записать о том, как я оборотень, как в полнолуние я превращаюсь в мешок с говном, но идея исчерпала себя в назывании.

Мне захотелось записать в столбик:

"черненькое масло
сорочечка".



Мне захотелось записать загадку:

“если варенье не взбитое,
марципан не взбитый,
а грильяж взбитый,
что такое взбитость?”

Мне захотелось записать опять:

“мой друг элементарный коршун
бравату распустил мою”.

Мне захотелось записать, когда я посмотрел фильм Уэллса:

“вышли во дворик
вдруг засветилась вся академия”.

Мне захотелось записать из области естествознания:

“мышь похожа на воробья
воробей похож на мышь”.

Мне захотелось записать красивое слово, обозначающее красивое деяние:

“поджог”.

Мне захотелось записать, несмотря на протест врагов прекрасного:

“к нам приехал гость облеваный”.

Мне захотелось записать полусмысленное словосочетание:

“логово Логоса”.

Мне захотелось записать для “Эстетики угроз и обзываний”:

“Я тебе покажу коня!

Я тебе покажу коня!”

Мне захотелось записать план на ближайшее будущее:

“всем отдавать указания
сделаться главным событием вечера”.

Мне захотелось записать целое стихотворение:

“хотя я вел себя отвратительно
выебывался потный
и ел всякую дрянь
не сломалось священное жало варгана
стихи не убежали из тетрадки”.

Мне захотелось записать прекрасную чужую фразу:
"одновременно уста говорить и быть перестали"
(Ovid. Met. IX 392. Пер. С. Шервинского).

Мне захотелось записать из области естествознания:
"полубог был отъявленная лисица".

Мне захотелось записать с большими интервалами
между словами:
"леса полная чаша пепла".

Мне захотелось записать спозаранку:
"журавли как говно обступили (вариант: облепили) лачугу
мою".

Мне захотелось записать фразу из книжки, которую бабушка
Броня и дедушка Витя подарили мне к 1 сентября 1984 года:
"там же "прописана" также элегантная и довольно крупная
носатая гадюка".

Мне захотелось записать обращение к скользкому торговцу
картинами:
"ваши картины кошмарные! понимаете, молодой человек, кош-
марные!"

Мне захотелось записать стихи:
"дрянные фисташки
masculin
я отчаялся".

Мне захотелось записать замечание на тему здесь:
"здесь живет грязца под наблюдением".

Мне захотелось записать ниоткуда:
"Господь с тобой, сынок, вот ведь они, булочки!"

Мне захотелось записать соображение на тему пословиц для
большого теоретического труда, но я не умею.

Мне захотелось записать рассказ про виртуальный словарь Даля
или хотя бы его краткое содержание, но я не умею.

Мне захотелось записать большими черными буквами:

ХРЮКЯКЪ

Мне захотелось записать содержание очень яркого сна про полицейских и культ плодородия, но боюсь, что читателю будет скучно, а мне неловко.

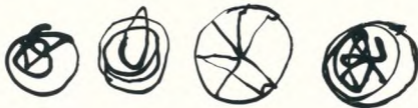
Мне захотелось записать, когда я увидел дятла:
"сверкая, птица эта шествует летать".

Мне захотелось записать два эпитафия из Тургенева. Вот этот:
"крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого,
прицепленное к сиянию"
и вот этот:
"конопляные зерна с легким стуком падали на пол".

Мне захотелось записать о том, как я сидел и думал плохими стихами. В этом,
как говорится, мой пафос.

Мне захотелось записать, какую чудовищную вещь
я себе представил:
"я представил себе, что один мой друг переспал (вариант: спит) с моей бывшей
женой, а когда я пугаю его ножом, предлагает мне в качестве компенсации спать
со своей бывшей женой".

Мне захотелось записать из Аристотеля:
"однако же это только топор"
("О душе" II 1, 412 b 15).



ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

1

У-т-р-е-т, разойтись, что ли, от этой проклятой привязанности?

У-т-р-е-т. В любой ложбине туман, полно тумана в любой ложбине. Город семью кучками чернеет. Под ноги смотри, под ноги, засрала все, суки, своими собаками, пройти нельзя. Поднимает ноги высоко, как цапля. Бойтся собаки. Застывает так, нос красный. В расход пустили всю грязь на улицах. Улицы блестят, новенькие, страшно ногу поставить. Заблудился между семи кучек, ни одной сосны не нашел. Вышел к дому. По времени дом розовый. Утренний чай молоком подкрасить. Включить радио. Закурить сигарету. Искать пепельницу, пока столбик пепла на скатерти не обсох. Поздно уже, можно бросить искать и рухнуть в мягкое, чай пить. Начался день. Ногу на следующую мостовину примостил. Собака удаляется. Разошлись. Пошел дальше. Окно очистилось. Мостовая масляная еще с утра. Убегает под гору. Розовый кусок рыбы на бутерброд с маслом возложил. Через окно торжественно посмотрел на четыре стороны.

2

Не говорить же мне с ним о любви, например, ведь правда, не надо. Мне с ним вот эту бутылку допить, потому как заплачено, и разойтись. Каждый в свою сторону, как сможет. А он мне душу раскрывает, можно подумать бриллиант, он рыдает у меня на груди безоглядно, мокрая ткань на ветру кожу холодит. Как не холодит? Осень на дворе. Он говорит бесвязно, он машет руками и сбивает листву во все стороны. Я даже отсел, даже закурил от волнения.

Он глаза прикрыл, бороденка торчит кверху, он про дороги говорит, говорит, что можно в любую сторону идти, говорит, все равно куда, говорит, все места разные, и знакомое что только через плечо и углядишь, мельком, когда слеза слепит, мигнешь когда на мокром ветру.

Я хотел было бросить, не слушать дальше. Тут он про город



говорить начал, что город как ему хочется, так и меняется, к осени только камни желтеют, остальное вечнозеленое, и дома с белыми блестками окон, и каждый раз в новом месте проходы, и улицы в места неизвестные каждый раз приводят. Он водки хватил еще, палец понюхал, поглядел кругом, головой дергая. И шепотом мне в ухо: нитку надо, надо, надо, понял! Тогда мы его обманем, мы к дереву этому привяжем путеводную нить. И засмеялся торжествующе. Закачался, по коленям себя хлопать стал ладонями. Шум поднял хуже града по листовому железу зимой. И шустро в кусты нырнул - блевать. Я, за жизнь цепляясь, из последних сил капли остаточные выпил, влил в рот пересохший своей последние капли. И метнулась земля мне навстречу. Я закрыл глаза.

3

Когда один из товарищей ударил меня клюшкой по затылку, я не стал, красиво схватившись за голову, оседать на землю, как того хотел, наверное, мой товарищ, а просто свалился боком в разрытую канаву теплоцентрали. Мне повезло, и упал я в теплую грязь - смесь из растаявшего снега и глины - между трубой и стенкой канавы. Горячую воду уже дали, но закапывать канаву не торопились, так и проходила по нашему двору напоминанием о прошедшей и закончившейся задолго до моего рождения войне.

Из канавы меня выволокли сообща и довольно быстро, так что промокнуть успело только мое серое, из дешевой ткани, пальто. Сам я ничего не видел и, говорят, даже не стонал, просто молчал и валялся на землю - ноги не держали. Потом оказалось, что у меня сотрясение мозга третьей степени, и я лежал дома под сползающими одеялами в пустоте, заполненной привычными домашними вещами, и все-таки в абсолютной пустоте, так как даже очертания этих вещей не мог я разглядеть сквозь закрытые веки. А когда я был вынужден открывать глаза, чтоб пройти в туалет, меня пугала кривлявшаяся ковровая дорожка, которая не могла, спокойно распрямившись, лежать на одном месте и, морщась, зачем-то подбивала меня под коленки так, что я чувствовал себя матросом, которого угораздило оказаться на чужом корабле во время шторма. Совершенно без сил я падал на кровать. Вокруг была пустота, я вливался в пустоту, и только болевшие мышцы ног удерживали меня на земле, напоминая о моем положении больного и о реальности болезни.

Выздоровел я недели через две, лишние одеяла были спрятаны в шкаф, я перестал мерзнуть, и снова можно было включать свет в детской комнате. Я заново перезнакомился со всей мебелью, и если честно - был рад, что пустота, такая всесильная во время



болезни, не утщила во время своего поспешного бегства ничего из привычных вещей, а удовлетворилась двумя неделями бесплатного проживания в моей комнате и улетела куда-то в сторону солнца.

4

Мы даже знакомы не были: так, по-дворовому. Привет, привет.

Он ко мне подходит, говорит: тут пацаны в войнушки играть собрались, пошли. Пока до пустыря шли, мы про фильмы заговорили, про драки в фильмах. На краю пустыря был летний кинотеатр, и все пацаны туда лазили кино смотреть, по вечерам. И по дороге, все это обсуждая, мы зашли в бараки, к умывальникам, воды попить. Попили воды, он мне неожиданно руку на плечо положил. И почему-то в зеркало смотрит, потом говорит, от эха в пустом бараке - торжественно: а какой самый лучший удар? Ты как считаешь?

Я ему говорю, что ясно какой, по яйцам, и носковать, пока не очухался. Он все еще в зеркало смотрит, потом ко мне поворачивается и говорит: а ты ничего чувак, с тобой дружить можно, я тоже так думаю, что по яйцам лучше всего.



Давид Дектор
ДВЕ СМЕРТИ

Речь идет о людях, которых я знал. Одного очень хорошо, другого плохо, пожалуй, совсем не знал. Мы были солдаты, нам тогда отдых устроили посреди войны, вроде санатория, куда не отпускали, ну, мы сбегали помаленьку, все звонили домой, собирались у телефона и звонили. Я даже не знаю, как его звали, помню, что он был санитар - как и я, а потом был артобстрел, я еще удивлялся глупости этих артобстрелов, столько снарядов, и ни хуя, а тут всех накрыло за милую душу, они там подождали - чтобы пришли собираться, и еще раз дали, вот тут его и убили.

А она сама бросилась, говорили, что она долго бродила по этому зданию, прежде чем бросилась. Ее и нашли-то не сразу. Она так попала на какой-то балкончик, что только на следующий день и заметили. Ну, Беттина сразу сказала, что все. Что-то случилось - как только она исчезла. Я сейчас думаю, что все переживаем, набраться такого терпения и пережить, только она не стала ничего набираться. Ну, его-то убило на войне, он пошел раненых-убитых выносить, а она сама бросилась. Так мы думаем.

ЕККЛЕСИАСТ

На что может рассчитывать молодой человек, позвав в гости девушку, которая ему нравится?

То-то и беда, что нравится. Он же волнуется, вон стук за окном, мало ли кто ходит, а он уже встrepенулся, как этот самый. Она ведь тоже не дура, у нее свои расчеты какие-нибудь, не зря же она поперлась. Ну хорошо, допустим, не угадал. Не понравился ты ей. То есть сначала может и ничего, пришла ж она все-таки, ну, может, вечер у нее пустой, может, ей скучно сегодня. Вот вы и разговариваете, а потом она встает и говорит, что ей пора. То есть, этот вечер, он себя исчерпал, ей больше неинтересно. Или, хуже того, - может, к ней кто явиться должен, может, она ждет кого, время-то еще не позднее, не очень позднее, скажем.

Вот он ее и провожает, наш молодой человек. А что, хвататься за нее, что ли, - это раньше надо было думать, пока она не заскучала. Она, правда, телефон взяла и говорит, что позвонит на неделе, черт ее знает, может и так. Тогда опять все сначала.



Алекс Мух

СМЕРТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Ни смолистых дров,
 Ни целебных трав,
 Ни кривых зеркал,
 Ни прямых углов,
 Ни колючих роз,
 Ни гремучих гроз,
 Ни дремучих снов,
 Ни помойных ям,
 Никаких обид,
 Никаких преград,
 Никаких невзгод,
 Никаких соплей,
 Никаких грехов,
 Никаких богов,
 Никакой судьбы,
 Никакой надежды...
 Лишь одна дорожка да на
 всей земле,
 Лишь одна тебе тропинка
 на твой белый свет,
 Весь твой белый свет,
 Твой белый свет,
 Весь твой белый свет...

Е. Летов

1

Редакция, после некоторых колебаний, сочла возможным напечатать эту провокативную прозу в качестве колоритного иллюстративного материала к быту израильских социальных и моральных аутсайдеров.

Высотное здание "Мигдаль а-Ир" выросло из белых камней мостовой и безжизненно устремлялось в призрачно-голубое небо четырьмя сероватыми полосами, разделенными тремя широкими рядами коричневых окон. Слева от "Мигдаль а-Ир" располагался скверик с фонтанчиком, общественным туалетом и медной скульптурой лошади в натуральную величину, с членом вместо морды. Справа, облицованный таким же белым камнем, косо стоял магазин "Машбир", казавшийся ослепшим куском скалы, - приземистый параллелепипед вовсе без окон; только нижний его этаж опоясывала стеклянная витрина, занавешенная бумагой по случаю смены декораций, - голых озябших манекенов должны были вот-вот нарядить в зимние одежды. Шагах в двадцати перед дверями "Машбира" стояла одинокая арка, слишком

напоминающая опору для ворот, чтобы смотреться уместно без створок и ограды с двух сторон. Под остановившимися пару недель назад на без двадцати восемь, кто его знает, какого времени суток, часами, на черных досках располагались золотые буквы TALITHAKUMI. В начале века арка действительно поддерживала ворота, за которыми стояло здание христианской школы для девочек. Здание это вместе с воротами снесли, а ворота потом, видимо для красоты, восстановили. Перед воротами на выложенном неизменным иерусалимским белым камнем возвышении стояли маленькие каменные кубики, такие незначительные машбирчики.

"Под TALITHAKUMI" было любимым местом встреч иерусалимской молодежи: арка располагалась в самом центре города недалеко от пешеходной улицы Бен-Йегуда и района пабов. На одном из кубиков сидел смуглый парень в шортах и пестрой рубашке, безостановочно вертевший головой. Прошло минут десять, он вскочил и побежал через площадку с появившейся со стороны сквера девушке, обнял ее за талию, оторвал на долю секунды от земли, поцеловал и увлек в сторону Бен-Йегуды. Вот пришли, громко обсуждая свои подвиги в виртуальной реальности, двое скаутов в серых рубашках и зеленых галстуках, с рюкзаками; постепенно обросли галдящей кучей сподвижников и соратников и отбыли в сторону выезда из города, на экскурсию. Вот два степенных русских мужика в тренировочных штанах с лампасами, бритых затылках и кожаных куртках с нарочито широкими плечами в ожидании подруг в ядовито-желто-зеленых майках. В Израиле только русские гопницы носят юбки до колен, израильянки носят или длинные платья, или уже совсем мини. Фосфорные же майки носят гопницы независимо от страны исхода.

Сева Елисеев наблюдал за происходившим перед "Машбиром" уже второй час, и его лицо под ежиком русых волос мрачнело все более и более. Он понимал, что все: пора уходить. Правда, вслед за этим пониманием немедленно возникал вопрос куда. Тело, на которое не действуют внешние силы, либо покоится, либо совершает прямолинейное равномерное движение. На Севу Елисеева внешние силы не действовали, поэтому и идти было некуда. Даже прохожие и встречающиеся парочки не замечали его, а если и замечали, то предпочитали глядеть насквозь, чтобы не заразиться тоскливостью его физиономии. Он даже толком не понимал, почему сидит именно здесь: случайно встретить кого-нибудь из знакомых было очень и очень маловероятно, а чудо... "Нет, - подумал Сева, - "под TALITHAKUMI" - не то место, где происходят чудеса..." В этот момент Севу отвлек от грустных мыслей неожиданный шум: из стеклянной двери "Машбира" выбежал человек, на повороте перед дверью его занесло так, что он едва не выбил телом толстое стекло, но оно выдержало удар, бегущий вылетел сквозь распахнутые двери, на секунду завертелся волчком и опрометью бросился по направлению к арке. Тотчас же из дверей выскочили вслед за ним два дюжих охранника в форме с криками: "Держите его! Помогите! Он вор!" Вряд ли им на самом деле нужна была помощь, ибо человек-вор был тщедушен, и хотя он старался бежать изо всех сил, но выходило это у него не очень быстро и уверенно. Исход погони практически не вызывал сомнений. "Вот, вот ему тоже необходимо чудо... А чудес не бывает..." - только и успел подумать Сева, как вдруг один из сидевших возле арки длинноволосых парней в майке с жуткой лубочной картинкой и надписью "SEPULTURA" подставил первому из бегущих охранников ногу. Охранник тяжело и смачно рухнул под ноги своему соратнику, и тому волей-неволей пришлось притормозить. Убегавший использовал несколькосекундную заминку на все сто процентов: пробежав еще несколько метров, он ввинтился в дверь отъезжавшего 32-го автобуса и отбыл в неизвестном направлении направления района Гило.

Сева встал и понуро двинулся на площадь Давидки: садиться на свой 18-й.

Автобус подошел довольно быстро и, слава богу, полупустой. Сев на заднее сиденье, Сева скрючился, прислонившись головой к холодному стеклу, и закрыв глаза, попытался заснуть.

Сон не приходил, более того, вместо него приходили мысли...

"...Так, если я не могу заснуть сейчас, в автобусе, когда так сладко покачивает, то нечего надеяться, что я смогу сразу заснуть, приехав домой... Чем же можно будет убить время?!"

Сева поправил волосяной хвостик, падавший с затылка на спину, и взглянул в окно: рынок. Рядом с ним на сиденье плюхнулась коротконогая смуглая баба лет сорока, державшая в одной руке десяток пакетов, через полупрозрачные стенки которых похотливо выглядывали набрякшие соками еды. За другую ее руку держались пятеро ребятенков от двух до десяти с чумазыми лицами, у одной девочки половину лица прожрал лишай. Как только баба села, дети, чавкая кукурузными хлопьями, полезли на колени к мамаше, наступая на пакеты и пихая Севу.

"...Вот ей, этой тетьке, будет чем убить время, а мне - нет. Я бы с удовольствием поменялся с ней местами, пусть даже у меня будет лишайное дите, - наверное, я буду его любить и, что еще важнее, оно будет любить меня... Нет-нет, - прервал он себя, - нет, дети - это отвратительно, даже не сами дети, а именно свои дети, видимо, именно потому, что им от природы положено любить совершенно определенных людей - мать, отца, а... А вот с другой стороны, это же прекрасно - что у тебя есть кто-нибудь, с кем можно перекинуться словом, пусть даже не лично, а так: вот снять телефонную трубку, набрать номер и поговорить, чтоб никто с другого конца провода не поинтересовался через три минуты разговора на вечную тему "ни о чем", зачем, собственно, ты звонишь". Сева достал из кармана записную книжку, отпихнул почти переползшего на него отпрыска соседней пассажирки и стал просматривать страницу за страницей.

"Алла - это было, да, это было, но это прошло... Звонить бывшим подругам? Нет, не стоит входить в одну реку дважды, а просто поговорить... о чем, мы уже сказали друг другу все, что надо, и даже много больше, так что..."

Аня - хоть сдохни, не вспомнить, что это за Аня...

Аня (Тель-Авив) - о нет... здесь говорить не о чем.

Анна (Хайфа) - да, пожалуй, это - вариант почесать язык, но, боже, какая же она дура, потом самому будет тошно, что взялся за телефон.

Аня - к вопросу о бывших подругах...

Боря - вот кто удивится звонку без причины...

Борька - послушать, что ли, как он пыхал вчера, и кто из его дружков-наркоманов кого обрыгал?... Нет, только не сегодня... И не завтра!

Бориска - на царство... Бориску... Ельцина? На царство... Да, кстати, а чей это на самом деле телефон?

Бэлла - этой звонить - только расстраиваться, давняя и, видимо... да чего там "видимо", безнадежная любовь. Почему безнадежная? Потому что слишком давняя. А что если позвонить и просто, сразу: "Знаешь, я давно тебя люблю!.." Спросит, сколько я сегодня выпил. А правда, сколько мне надо выпить, чтобы вот так позвонить? То-то и оно...

Бухенвальд - да, этому, пожалуй, можно, только что вышел из психушки, полон впечатлений, но мне, мне-то они на что сдались, его впечатления.

Валера - сиф, срach и дрищ, а не человек.

Витя - чисто деловое знакомство. То есть полное незнакомство...

Верка - к вопросу о бывших, хотя... Если купить бутылку и позвонить ей, то она из бывшей немедленно и с радостью станет нынешней, но почему-то я уже почти год ей не звоню, так что же, теперь звонить с тоски? Гордыня... "Я могла бы побегать за поворот..."

Вовчик - слушать полчаса порнографические сказочки с самим Вовчиком в качестве такого главного, что почти единственного лица? Ой-вэйзмир!..

Гога - этот уже приехал...

Дима - этот в армии. Только на пятницу-субботу и выходит.

Димка (Нацарет) - "Давно это было, давно это было, и... что там флаги разгневанно выли, народная память его сохранила, героя-мальчонку Негодина Колю..."

ная память его сохранила, героя-мальчонку Негодина Колю..."

Давид - не дай Б-г.

Женя (он) - старый алкаш. В лучшем случае попросит одолжить ему сто шеке-лей, хотя прекрасно знает, что я знаю, что он их никогда не вернет.

Женя (она) - слишком красива, чтобы было о чем разговаривать. Женщины не бывают и красивыми, и умными одновременно.

Женя (Безр-Шева) - он, она, Безр-Шева... Выходит, Безр-Шева - это третий пол... Тем более все равно телефон двухгодичной давности.

Ира - что толку звонить женщине, за которой ухаживал, а она вышла замуж за полного мудака на вторую неделю знакомства...

Инна, Костик - этим со мной разговаривать больше не о чем.

Игорь - опять чисто деловое знакомство...

Игорек (Лод) - с людьми, живущими в Лоде, общение затруднено до крайности. Не знаю даже почему.

Костик, Инна - почему именно они записаны у меня два раза?!

Люда - да, это была история! Почти как на Патриарших. Вообще не понимаю, зачем я переписал ее телефон из прошлой книжки в эту... Помнить. Чтобы никто не забыл...

Леня - не тронь г..., вонять не будет. Типичный пример.

Леня (Бат-Як) - а вот это уже интересней. Сюда можно и позвонить, послушать веселый и беззаботный гон. Правда, он будет и настолько же занудным и невнятным...

Леша - говорить с заиками по телефону? Уволь! Увольняю!

Марина (Холон) - опять к вопросу о...

Марк - о, с ним я встречусь, будем надеяться, нескоро, дозвониться до него теперь очень и очень непросто... Легкая смерть, можно только позавидовать: грузовиком в спину, и адью, до скорого...

Марик - второй месяц телефон отключен за неуплату, интересно, свет, вода и газ еще имеются?

Марина - это в Эйлате... Позвонить, сказать: "Сейчас приеду, принимай!..." А силы-то откуда взять до тремпиады и потом... Зачем силы? Просто поговорить... А о чем? А с другими о чем... Черт, какого черта я вообще листаю эту сраную книжку? Нет, ладно, дальше...

Мошк - ни одного Миши в записной книжке. Только Мошк, и того не помню. Я не помню никого, кто записан у меня в книжке под уменьшительно-ласкательным именем. Видимо, записываю нетрезвый. Надо писать пояснения.

Оля, Дима (Димона) - "Димона-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня..." - почти за пределами...

Роман - ой-вэйзмир...

Рома - ну, этот или спит, или в городе тусуется, человек практически лишен телефонной жизни...

Ромик - не о чем с ним говорить, особенно по телефону, тут и без телефона-то тоска зеленая, а не общение получается, а уж посредством...

Ромыч - зануда...

Романыч - только переехал, телефон поменялся, а нового я не знаю...

Римма - к вопросу о бывших...

Саша - о, вот это, пожалуй... Ради такого дела не жалко и телефон снять с пояса... Так-так-так-так-так-так... Але... Добрый вечер, Сашу можно... А когда будет... Трое суток, говорите, сволочь, не появляется и не звонит... Хорошо, увижу, скажу, чтобы, сволочь, позвонил...

Таня (Акко) - нет-нет, телефон обратно на пояс, в Акко звонить еще хуже, чем в Лод, - там люди вообще разговаривать разучились...

Толя - ну а здесь о чем разговаривать?..

Таня - когда женщина насильно дает тебе свой телефон, хорошего не жди.

Яна - к вопросу о...

Все, последняя страница... Вот так-то вот! Прожить тридцать лет, чтоб потом не с кем было поговорить по телефону!"

Сева понору вышел из автобуса и побрел по сердцу Кирыт-Йовеля, района бедноты, - по улице имени еврейского террориста Штерна, в свою заплыванную однокомнатную квартирку с душем и сортиром в

закутке, отгороженном фанерой, а также столом, тремя стульями, холодильником, шкафом, газовой плиткой, стиральной машиной и рваным, принесенным с помойки, двуспальным матрасом "Аминах", занимавшим все остальное пространство комнаты, пропахшей пивом и дымом дешевых сигарет "Nobless".

В холодильнике лежали одинокая банка консервов из тунца, два яйца, полбанки майонеза, луковица и лимон, короче говоря, почти все необходимое для приготовления постылого ежедневного салата, называющегося "От имени национал-большевистского рок-движения "Русский Прорыв" я приветствую вас в городе-герое Иерусалиме!" или сокращенно "наци-панк-салат".

"Не буду сегодня есть. Лучше ничего не буду!" - вслух сказал Сева и ощутил, что ему стало физически плохо: накатила муторная слабость, тело стало восковым. Он лег на кровать в позу эмбриона и закрыл глаза. "Хоть бы кто позвонил, хоть бы кому я был нужен в этот вечер. Или мне кто-нибудь был бы нужен. Не кто-нибудь вообще, а чтоб представить лицо... Все лица растворяются... Я не могу представить себе ни одного лица... А как выгляжу я? Господи, я забыл, как я выгляжу!.." Сева вскочил и бросился к зеркалу. Отражения не было... "Я сошел с ума или... Или умер? Или я умер... Или, как принцесса Атех, я вижу то, что было, или то, что будет, а будет то, что и меня не будет. И что толку с того, что меня не будет: для всех я уже умер, а себя не вижу в зеркале..."

"Это - сигнал! Пора!" - почти крикнул в пустоту Сева и сорвал со шкафа промышленную скользкую веревочную петлю, найденную им однажды в подъезде. Помертвевшими руками он привязал петлю к люстре, влез на стул, засунул в нее голову и зажмурился. В этот момент заверещал прицепленный к поясу сотовый телефон.

"Неужели чудо? Неужели?" - вспыхнула в голове красная лампочка.

- Але-о... - раздался в трубке бас.

- Але-але... - ответил дрожащим голосом Сева.

- Здорово, узнаешь?

- Не-а.

- Да Жёна это, Женька, ты че, совсем?..

- Совсем... - согласился Сева.

- Что делаешь?

- Долго рассказывать...

- Что-нибудь важное?

- Ммм... Да...

- А у меня к тебе вот какое деловое предложение: приезжай сейчас в город, я, понимаешь, на "Машбире". Одолжишь мне шекеley... - "Сто, он скажет - сто!" - похолодел Сева, - сто... Выпьем, понимаешь, водочки и вообще.

Сева отключил телефон и, выдохнув, всем телом упал со стула вперед.

2

Люстра не продержалась и трех секунд: на миг наступила темнота, а потом Сева коснулся ногами пола, ярко вспыхнули белым суеверным светом закоротившиеся оборванные провода и страшный удар по затылку вышвырнул Севу из сознания.

Привел его в себя назойливый звук: телефон тихо, но настырно пищал. Сева попытался нащупать его на теле, но не ощутил даже складок одежды, только камни... "Камни... Откуда здесь камни? Где здесь? Почему так болит голова?.. Ах, да... Я вешался... Неужели я и вправду..." Думать было больше не о чем, а боль в голове то и дело вклинивалась и разбивала стройный ход мыслей. Телефон снова запищал. Сева уперся руками в пол и встал на колени. С шуршанием и звоном что-то свалилось с него. Так: телефон в руке.

- Я слушаю...

- Але, привет, это Бэлла...

"И нужно было залезать в петлю, чтобы все началось по новой..." - подумал Сева, но ответил совсем другое:

- Привет, рад тебя слышать. Как поживаешь?

- Ой, слушай, я тут с подругой в Иерусалиме, мы приехали погулять в Старый город и так промокли...

- Как промокли, почему приехали, ты же живешь в Иерусалиме...

- Да, Севушка, отстал ты от жизни, я уже три недели живу в Тель-Авиве и уже полчаса льет как из ведра. Только мертвый может не услышать...

- Да-да, мертвый. Я был мертвый...

- Это как, спал что ли?

- Нет, мертвый...

- Хватит стებაсться, это мы сейчас мертвые будем. Мы замерзли и промокли. Очень. Правда, Светк? Так вот, можно у тебя вписаться и согреться?

- Можно... Только купите по дороге свечей, у меня света нет.

- Жди.

- Жду... - тупо промолвил Сева в уже потухшую трубку, а потом, встав и окончательно стряхнув с себя штукатурку и битое стекло, пошел в душ. В сортирно-душевом закутке свет не загорелся. Пришлось выходить на лестничную площадку и поднимать пробки на щитке. Свет в закутке зажегся, и в зеркале появилась осунувшаяся физиономия Севы с багровой полосой на шее.

После душа Сева наощупь собрал штукатурку и куски битого стекла от абажура и вынес на улицу, на помойку. Только теперь он понял, как девушки должны были промокнуть в Старом городе: шел один из тех нередких осенью и зимой в Иерусалиме булгаковских дождей, при которых первым же порывом ветра выворачивает наизнанку зонт, а его обладатель становится мокрым насквозь: ветер вбивает капли в одежду, и они проходят насквозь, липко разбиваясь о кожу, покрывая ее мурашками. Судя по количеству мусора, в потолке должна была образоваться изрядная дыра. Теперь оставалось только ждать.

Минут через пятнадцать в дверь позвонили. С замиранием сердца Сева поднялся с кровати и открыл дверь. За порогом стояли две девушки: одна - невысокая стройная брюнетка, Бэлла, и другая - видимо, Светка, блондинка повыше с - это было заметно даже в полутьме - прекрасной, Севе даже пришло в голову слово "умопомрачительной", фигурой, обтянутой насквозь промокшим платьем.

- Так, это подогрей... - Бэлла на правах хорошей знакомой липко чмокнула Севу в щеку и сунула ему в руку бутылку дешевого бренди, - это - свечи, а мы - в горячий душ. Иначе все, карьер и полное облысение на ангинной почве...

- Ну-ну. Хорошо-хорошо... - только успевал поддакивать Сева. - Правда, я вот боюсь, что горячей воды на две помывки не хватит...

- Ничего, мы вместе! - хихикнула Бэлла и, подмигнув Севе, ошалевшему от такого кипения жизни, утащила подругу в ванную. Сева опять остался один.

"Да... дела, - подумал он, - вот уже две девки в душе, а я все равно один... Все равно, сколько бы вокруг ни тусовалось народу, я - один. И, чтобы не лезть больше в петлю, необходимо выяснить - почему оно так происходит. Да, в общем, ясно почему: общение на уровне пьяного или даже трезвого трепана - при нем не возникает никакой общности - ни духовной, ни телесной. При сексе - да, возникает телесная, но духовная - только при любви... А что это такое? Лет десять назад я думал, что знаю, - это когда ночи не спишь, ждешь встречи, глаза закрываешь - лицо видишь. И это случилось. Стучалось нередко, после проходило. Потом я поумнел и стал считать это проявлением юношеской гиперсексуальности, теперь - второй виток? - я начинаю думать, что это и была любовь, а сейчас я любить просто разучился, женщины стали для меня

предметом одноразовым - и такая пустота в душе, не осталось ни одной висящей ниточки, чтобы к кому-нибудь привязаться..."

Из закутка вывалились раскрасневшиеся девушки, и Севе волей-неволей пришлось оторваться от грустных мыслей, вытащить из горячей воды бутылку бренди и налить три маленьких стаканчика - граммов по пятьдесят. Он уже поднес посудинку с густой бурой жидкостью к раскрытому рту, как вдруг ощутил легкий толчок, сопровождавшийся слабым звоном, и поднял глаза. Света касалась своим стаканчиком Севиного.

- За встречу, мрачный молодой человек! - произнесла она и выпила.

- Он не мрачный, он просто задумчивый, даже когда бухает с женщинами... - заступилась за него Бэлла и, чокнувшись с обоими, тоже выпила.

- Сейчас-сейчас, я выпью и разойдусь. Мало не покажется, много покажется... У меня просто день был мрачный... тяжелый... - промямлил Сева и потер рукой рубец на шее.

Горячий напиток обжег горло, растекаясь вниз приятным зудом, а потом волной потек к голове и через секунду распался, растаял, словно отбегающая волна, унося с собой депрессивную муть. Севе показалось, будто невидимый волшебник протер закопченное стекло, через которое он, Сева, смотрел на мир, и грязная, еще освещенная свечами комната превратилась в пещеру Али-Бабы... "Хватит! - сказал себе Сева. - Сидишь с двумя красивыми женщинами, одна из которых - женщина твоей мечты, и еще делаешь кислую физиономию. Или выгоняй их и вешайся по новой, или кончай играть в болезнь, которая уже прошла, и берись за жизнь!" Сева подумал, пожевав губы, и выбрал второе.

- Между первой и второй перерывчик... совсем маленький!.. - улыбнулся он и разлил по новой.

- О, вот теперь узнаю прежнего Всеволода, - улыбнулась Бэлла и протянула стакан. Света подвинула свой стул поближе к Севиному и тоже протянула стакан.

Вторая порция бренди расцветила мир насквозь и поперек.

- Так, а что мы сидим в тишине... - подумал вслух Сева и нажал на кнопку "play" своего жалкого однокассетно-одноколоночного магнитофончика. "Come on, baby, light my fire!.." - запел как нельзя более кстати Джим Моррисон. - Ну что, согрелись?

- Ну что, по третьей? - спросила вместо ответа Бэлла. - Выльем, и я схожу проведаю Вадима.

Настроение у Севы упало ниже нуля. Вадим был бывшим парнем Бэллы, но насколько бывшим, он понять не мог. Сейчас Вадим жил через три дома от Севы, и, встречаясь на автобусной остановке, они не здоровались. За глаза Сева называл Вадима мудаком, хотя и понимал прекрасно, что Вадим никакой не мудака и что называет он его так, потому что Вадим трахал Бэллу, а Сева любил ее... "А может, я это и называю мудака?" - с вызовом говорил себе Сева, но на душе от этого менее погано не становилось.

- Дождь же на улице... - начал Сева, понимая, что говорит совсем не то, настолько не то, что к горлу подкатывал комок пустоты.

- Не, дождь уже кончился... Да я ненадолго, мне у него кое-какие книги надо взять почитать, я скоро вернусь.

- Ладно, тогда по третьей, - улыбнулся Сева и сам ужаснулся: "Какого хрена я улыбаюсь... Почему?! Боже, почему я улыбаюсь... Я должен подойти к ней, обнять и сказать: "Не ходи куда! Останься со мной!"

Вместо этого Сева встал и открыл дверь.

- Я скоро вернусь, не скучай, Светк... - с порога крикнула Бэлла, подмигнула подруге и исчезла в недрах лестницы.

Когда Сева вернулся в комнату, Света танцевала, заложив руки за запрокинутую голову. "Come on! Come on!.." - надрылся Моррисон. "Господи, если бы она приехала не с Бэллой,

а с кем-нибудь другим, то я бы знал, что сейчас делать..." - пронеслось в лопающейся Севиной голове. Потом голова опустела окончательно, он выпил стаканчик уже почти остывшего бренди, а другой поднес Свете. Она выпила, не прерывая танца и не опуская головы. Сева положил ей руки на бедра, а она свои - ему на плечи. Танец отрешил их от всего, кроме танца. Постепенно, сами по себе, более того, вопреки его воле, Севины руки опустились ниже, а Светины руки распрямились, так что теперь на его плечах лежали ее локти. Сева понял: сейчас произойдет то, чего он не то чтобы не хочет, а не может позволить себе, потому что потом будет еще хуже. Он немного отстранился, чтобы взглянуть Свете в глаза, увидеть в них хотя бы тень сомнения, но вместо этого увидел, что ее глаза закрыты, а губы в миллиметре от его губ. Танец оборвался.

Бэлла вернулась через полтора часа. К этому моменту они уже успели одеться и привести себя в порядок, но их улыбки, а более всего уверенно и нетрепетно покоящаяся на Светином бедре рука Севы однозначно говорили о том, что произошло в комнате за последние пару часов.

- Ого, да я погляжу, у вас все ништяк! - улыбнулась Бэлла.

- А у вас как с Вадимом? - спросил Сева, и больше всего ему хотелось, чтобы Бэлла ответила: "И у нас тоже все ништяк!"

- Вот, третий том Кастанеды и "Сто лет одиночества" взяла...

- А... - выдавил Сева, но, приглядевшись, не смог найти в своей душе и облачка прежнего мрака. - Выпьем еще по маленькой? - вопросительно предложил он и, заранее зная ответ, принялся разливать. Настроение поднималось, уровень жидкости в бутылке стремительно падал, а потом стали клониться головы, и в полночь матрас "Аминах" принял на себя тяжесть трех изнуренных дневной суетой тел.

Среди ночи Сева пару раз просыпался, не вынимая онемевшей руки из-под Светиной головы, целовал ее в лоб, - тогда она улыбалась во сне, - и снова позволял засосать себя водовороту цветных душистых снов про оборвавшиеся петли и Окван Радости, расстилавшийся под ними...

Но, увы, ночь не бесконечна, сквозь полупрозрачные занавески в комнату стал пробиваться пахнущий вчерашним дождем свет нового дня, и все трое лежавших на двуспальном "Аминахе" почти одновременно заморгали.

Сева лежал на спине и, открыв глаза, первым делом увидел, что четверть потолка лишена штукатурки, а посередине, словно кратер вулкана, зияло коническое отверстие в палец глубиной, из него торчали два проводка: зеленый и красный. "Неужели я вчера действительно, взаправду вешался?... - изумился Сева, - Нет, быть такого не может..."

- Ого, милый, что это у тебя с потолком? - спросила Света, поцеловав его в щеку.

- Вот, понимаешь, абажур сорвался, чуть не убили... - ответил Сева и сам немедленно поверил, что это правда. В углу, за шкафом, терпеливо и укоризненно покачивалась петля: "Еще посмотрим..."

После завтрака, состоявшего из "наци-панк-салата" и сладкого чая с лимоном, Бэлла поднялась и сказала:

- Ну, ладно, мне пора, мне в два надо быть на работе, а еще в Тель-Авив ехать... Светк, ты со мной?

- Тебе что, тоже к двум на работу? - спросил ее Сева. Вчерашнее наваждение кончилось, и теперь он говорил в точности то, что хотел сказать, более того, выходило это без всяких напрягов.

- Да мне, собственно, торопиться некуда... - покраснела Света.

- Бросаешь? - притворно обиделась Бэлла.

- Наоборот, не бросает, а остается! - опять вклинился в разговор Сева.

- Ладно, чего уж там, наслаждайтесь жизнью... - вздохнула Бэлла и начала собирать сумочку.

Света прожила у Севы два дня, а потом, решив, что ей необходимо показаться на глаза родителям, начала собираться в Тель-Авив. Сева решил, что ему тоже не помешало бы размяться, и потому спросил:

- Ты как поедешь в Тель-Авив - тремпом¹ или на автобусе?
- Я тремпом одна боюсь ездить... - ответила Света, и Сева принял этот ответ за приглашение.
- Давай вместе двинем, я поброжу маленько по Тель-Авиву, давно там не был...
- А обратно ты как поедешь?..
- Ну... тремпом...
- И далеко ты один тремпом уедешь?
- Нормально-нормально! - уверенно ответил Сева, хотя и не был вполне уверен в том, что доедет нормально. Однако искушение побыть не одному лишние пару часов было слишком велико.
Иерусалим - город двух тремпиад. С восточной, располагающейся на холме Гиват-Царфатит, на шоссе Иерусалим - Маале-Адумим, можно приехать в собственно Маале-Адумим, более мелкие поселения на территориях, а также на перекресток Альмог, с которого за вечной знойной дымкой виднеются Мертвое море и Кумранские пещеры. От перекрестка же Альмог расходятся две дороги: первая - на юг, сквозь бесконечную, по израильским меркам, пустыню, в Эйлат, а вторая - на север, в Бейт-Шеан, а потом к Кинерету. С западной же тремпиады дорога ведет в Тель-Авив - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Противоположны на них, как запад и восток, и контингенты тремполовов. На восточной тремпиаде тусуются в основном здоровенные жлобы в вязаных кипах с автоматами, которых довольно оперативно подбирают их сопоселенцы - тоже с автоматами и тоже при кипах, и тоже, конечно, жлобы. На восточной же тремпиаде контингент делится на три категории. Первая: не столь здоровенные жлобы в черных лапсердаках и шляпах, которых подвозят... догадайтесь с трех раз сами - кто; вторая: солдаты, которых подбирают все кому не лень; и третья: ни досы² - ни воины... Тех из третьей категории, кому повезло с хорошо приметными с трассы женскими вторичными половыми признаками, берут сексуально озабоченные отцы обширных семейств, которым уже обрыдли их бочкообразные жены. Остальные ждут часами.
Именно к третьей категории и относились Света и Сева.
Первая машина - "шевелроле" - остановилась минуты через три. Несколько солдат и Сева со Светой бросились к ней.
- Только солдат! - выхаркнула черная морда, обрамленная со всех сторон (лоб, плечи, шея, брови, переходящие в шевелюру) волосами. Солдат, которым надо было ехать в Тель-Авив, оказалось только двое.
- А нас возьмете? - спросила Света.
- Тебя, куклолка, возьму, а этот, - указав на Севу жирным пальцем, - нам ни к чему! - снова выхаркнула морда. Света захлопнула дверь. Сева плюнул на лобовое стекло. Машина, включив дворники, уехала. Вторая машина остановилась еще через две минуты. Это был кургузый жучок с волосатым парнем внутри. "Лод!" - победоносно выкрикнул он.
- Поехали, хоть отсюда смоемся! - сказала Света, и они поехали.
Фрик³ оказался не просто разговорчивым - скорее болтливым. С другой стороны, он имел пару неоспоримых достоинств. Первое открылось почти сразу: водитель не требовал от пассажиров участия в беседе, он просто размышлял вслух, в основном о последней поездке в Синай и сотне-другой своих последних подруг жизни. Второе достоинство выяснилось, когда разговор плавно перешел с Синая на анашу - на участке дороги от Латруна до Лодского перекрестка водитель и пассажиры сосредоточенно обкуривались. На следующую тремпиаду наши герои вышли уже в сумбурном расположении духа.
Тремпл номер два остановился почти сразу, Сева сел рядом с водителем, потому что Света была уже слабо презентабельна. Водитель - средних лет мужик с залысынами - первые минут пять сосредоточенно вел машину, а затем спросил:

¹ *Тремпл* - бесплатный проезд на попутной машине, которую обычно останавливают на *тремпиаде* - удобном, специально предназначенном для этого месте.

² *Дос* - сленговое обозначение ортодоксального еврея.

³ *Фрик* - обозначение одной из разновидностей израильской неформальной молодежи.

- Вы откуда?... Русские?
- Русские... - нарочито скучая, ответил Сева.
- Слушай... Меня давно интересовал один вопрос...
Я знаю, что все русские мужики - мафия, а все девушки, ну... я не говорю про твою, но... все остальные... в общем - проститутки. Так вот, от вашей русской партии в кнессете - шесть мужиков и одна женщина. Я все думаю, почему?
- Не знаю... - зевнул Сева.

- Так я тебе скажу почему! Ей не хватило места в проститутках - куда ее было девать? В мафию!

С заднего сиденья глупо захихикала Света:

- Ну не вся же мафия в кнессете! Кнессет у вас маловат!
- Вот! Вот это и вопрос! Почему у нас такой маленький кнессет... А такая страна! Ай, какая страна! Где вам больше нравится, в Израиле или в России?

- На Луне! - ответил Сева, и разговор прервался.

Перед самым выходом, на перекрестке возле железнодорожного вокзала, водитель заговорил снова:

- Я хотел попросить телефончик...
- У меня нет телефона! - автоматически ответила Света.
- Нет-нет, у тебя, молодой человек... - Сева только застонал в ответ.

Он проводил Свету до дома и договорился, что она заедет к нему через пару дней. Возле подъезда Света вдруг схватила его за руку и спросила:

- Ты меня будешь ждать?
- Об чем разговор, в любой момент можешь приезжать, чем скорее, тем лучше!
- Нет, я не про это, ты будешь именно меня ждать или тебе не очень важно, с кем трахаться? - тихо спросила Света, заглядывая Севе в глаза.
- Нет, только тебя, - ответил Сева убежденно.

Света поцеловала его в щеку и впорхнула в подъезд, ее силуэт на минуту мелькнул, искаженный коричневым стеклом двери, и исчез... Нет, скорее медленно растворился.

Оставшись один, Сева снова загрустил. Действие марихуаны проходило, оставляя после себя серую реальность бытия... Серую?... Солнце светило вовсю.

"Ладно, пройдуся до площади Дизенгоф... - там хоть как-то повеселее" - почему "там" повеселее, Сева не знал, но когда он был "там" в последний раз, место ему понравилось. Сева редко бывал в Тель-Авиве и поэтому слабо представлял, где находится площадь Дизенгоф, но периодически замечал между домами свечу высотного здания Дизенгоф-центра и выравнивал курс на нее.

"Да... два дня пролетели, как сказка, - размышлял Сева, проходя улицы, площади и скверы, но почти не замечая их, - а дальше - что? У меня была мечта, не такая уж и несбыточная мечта - Бэлла... Была, хоть и односторонняя, но все же любовь, а теперь? Вряд ли с Бэллой мне теперь что-нибудь светит, ведь я из них двоих выбрал не ее...

Или наоборот: не она меня выбрала?... Но, с другой стороны, - зачем думать об этом, ведь при своей любви я не только не позвонил тогда в автобусе, более того, даже когда она приехала ко мне, и все на секунду показалось возможным, самые смелые мечты могли, стоило мне... А я даже не попытался... Взял то, что само падало в руки... Хотел ли я этого? А если нет, то почему же мне было так хорошо последние два дня... Или я просто заморочился и все усложняю? Тьфу ты!" Сева действительно сплонул и, случайно попав в урну, перетек через это удивительное событие в подножную реальность. Он уже почти подходил к Дизенгоф-центру.

Фонтан на площади Дизенгоф является для Тель-Авива почти тем же, чем для Иерусалима TALITHAKUMI. Единственная разница, пожалуй, заключается в том, что

здесь процент молодежи значительно ниже, а на скамейках сидят старички и старушки и кормят наглых жирных голубей. Сам фонтан раз в несколько часов извергает струю пламени и начинает бить неожиданно разноструйно. Это действие называется "Огонь и вода". Вероятно, архитектор собирался показать, что в силах человеческих даже примирить две эти стихии, но вышло у него не очень: вода периодически заливала пламя, и вместо оригинального зрелища посетители площади Дизенгоф любовались запахом газа и хрипучими попытками огня вновь найти себе безопасный клочок пространства между смертоносными водными струями.

Купив в располагавшемся на подступах к площади магазине бутылку вина, Сева дошел до фонтана и привычным движением вдавил пробку внутрь, в горлышко, а когда палец уже не проходил дальше, перевернул бутылку и, приставив горлышко ко рту, легонько потряс. Сколько мгновений ничего не происходило, а затем пробка внезапно всплыла, и поток желтой кисловатой жидкости излился. Когда Сева оторвал бутылку ото рта, перед ним в выжидательно-умоляющей позе стояла до умиления странная фигура: сорокалетний мужик в одних шортах, с седеющим ирокезом и надписью фломастером "Анархия" на груди. В трясущейся руке фигура держала пустой пластиковый стакан.

- Плесни, сынок... - прохрипел мужик и сел рядом с Севой.

Сева молча плеснул. Больше всего он боялся, что сейчас мужик начнет молотить пьяную ахинею и просить еще вина. Но этого не случилось. Наоборот, мужик медленно и чинно выпил, потом коротко, но пронзительно посмотрел Севе в глаза, встал и задумчиво произнес: "Испытываешь ужас при мысли, что внезапно испытываешь ужас!" Сначала интонация, с которой это было произнесено, парализовала Севу, но когда до него дошел смысл сказанного, он похолодел, осознав, что это - именно про него...

- Это... почему? - выдавил совершенно невпопад Сева.

- Это не почему, это Ницше, с-с-сынок! - внезапно озлобившись, выкрикнул мужик и суতোло пошел прочь.

Сева посидел еще пару минут и, спустившись с фонтана по противоположной лестнице, в смятенных чувствах двинулся на тремпиаду.

Тренинг он поймал на этот раз на удивление удачно: через час стояния на перекрестке Киббуц Галуёт одна из машин свернула к обочине, но потом внезапно стала возвращаться обратно на трассу.

- Бля-а-а-ааа-д-ииииии! - во всю оскорбленную мощь заорал Сева, и машина снова прижалась к обочине, а потом медленно, задом стала подъезжать к Севе, словно крик лишил ее необходимости слушаться водителя и переподчинил его воле.

В машине сидел толстый, коротко стриженный детина лет тридцати пяти в тренировочном костюме.

- Русских всегда беру, садись! Хорошо, что крикнул! - улыбнулся детина и распахнул перед Севой дверь.

Как только Сева сел, водитель немедленно завел разговор:

- Я почему русских беру, а жидов - нет?

- Почему? - из вежливости поддакнул Сева.

- Да, понимаешь, с ними и не поговоришь толком, они кроме этого своего варварского наречия ни хрена не понимают. Смотри, я знаю не один, я два языка знаю, свободно пишу, читаю...

- Какие? - поинтересовался Сева.

- Русский и украинский. Два цивилизованных языка двух европейских народов. А эти - что арабы, что евреи? Да с арабами еще легче: хоть знаешь, что они враги, а эти друзьями прикидываются, а сами... Вот слушай, я когда приехал, пошел работать сначала в фалафельную. Ну и, значит, говорит мне хозяин, что я, типа, могу себе одну питу с чем хочу в обед сделать и съесть. Я делаю... ну хумус, как у пацанов водится, сыру, колбаски, а этот - морда черная, лоснится, мне и начинает что-то кричать... Хорошо, мужик русский рядом стоял, перевел, типа: "Я, значит, сукин сын, он, значит, мою маму, и что я вообще, типа, не еврей". Я говорю: "Переведи, что евре-

ев я всех, значит, вертел на одном месте вместе с богом их мудакким и Эрецем их Исразлем сраным, что у меня вообще только бабушка еврейка, я ее и в глаза не видел, а жидам всегда на Украине по хайлу стучал, а за маму он, пидор, ответит". А когда тот перевел, я, значит, его взял за яйца, он рот открыл, я ему эту питу, выходит, в хайло затолкал и по зубам... Он потом все грозился ментов вызывать, да хер вызвал: я ему сказал, типа, я те яйца откручу против часовой стрелки и скажу, что так и было, меня потом пять лет кормить на халяву будут, а ты без яиц на всю жизнь останешься!

За такой интеллектуальной беседой прошла вся дорога. У Севы разболелась голова, то ли от скуренного и выпитого, то ли от тупой трескотни водителя, который на прощание предостерег Севу:

- Ты смотри, пацан, от жидов держись подальше, это такие мрази!..

"При чем тут "жиды"? Вообще, от людей надо держаться подальше! Как там у Севна Гундлаха... "Все подонки, подумал Сергей... Гости расходились..." Гости... гости... при чем тут гости... ладно, разберемся..." - бормотал под нос Сева, втискиваясь в 18-й автобус. Люди поглядывали на него настороженно. "Домой! - зазвенел в голове голос Янки Дягилевой, - домой!"

4

А на следующее утро Севу разбудил телефонный звонок. Еще не зная, кто звонит, Сева понял, что жизнь прекрасна вне зависимости от всего, что произойдет или может произойти. Это удивило его, так как за последний месяц он просыпался один лишь в двух состояниях: либо в депрессии, и тогда она продолжалась уже весь день, либо в смутной тоскливой тревоге, но она обычно к обеду перерождалась в депрессию еще более страшную.

Звонила Бэлла.

- Привет, узнал?

- Как не узнать, узнал! Как дела?

- Нормально... Да я, вот, в Иерусалиме, хотела заглянуть на огонек.

- Конечно-конечно... - Севу удивило, почему Бэлла так зачатила в Иерусалим, но он оборвал удивление вопросом: "А почему, собственно, все хорошее удивляет меня, неужели только обломы - в порядке вещей?"

Бэлла пришла на удивление скоро - минут через пятнадцать - и достала из шуршащего прозрачного пакета четыре поллитровых бутылки пива:

- В холодильник!

- Ого, в дождь горячий бренди, в жару - холодное пиво... Все точно - как в аптеке! - подумал вслух Сева.

- А что тут такого? - улыбнулась Бэлла. - Жить надо припеваючи! - и достала из другого пакета двух толстенных сочных вобел.

- Да... - только и выдохнул Сева. День начинался славно.

Питье пива затянулось до вечера, периодически прерываясь его закупками. Когда часовая стрелка подошла к одиннадцати, Сева подумал, что Бэлла забыла про существование последних автобусов, и, хотя ему очень не хотелось оставаться одному, спросил:

- Ты не опоздаешь на последний автобус до дома - до хаты?

- Ой! А правда... - на лице Бэллы нарисовалось пьяное изумление. Она встала, чтобы посмотреть на часы, но, вдруг покачнувшись, начала аккуратно заваливаться на пол.

- Ты чего? - испуганно спросил Сева - и сам себе вслух: - Вроде и пила только пиво.

Застонав и схватившись одной рукой за горло, а другой за живот, Бэлла с трудом поднялась и проковыляла в закуток. В течение добрых десяти минут оттуда раздавались булькающие звуки.

"Н-да... - подумал Сева, - отпустить ее уже никуда нельзя - и поздно, и чувствует она себя явно не фонтан. Придется ее вписать... А это будет ох как непросто, проспать рядом с ней всю ночь, ощущать ее рядом и не иметь возможности даже обнять ее, потому что... Стоп! Почему? Потому что обещал Свете? Нет, это чушь, я ей обещал совершенно искренне, но Бэлле я действительно люблю, а в отношениях со

Светой есть привкус пластика. Потому что Света все узнает? А какая мне разница, если я уже буду с Бэллой... А все равно никак невозможно... И не в том дело, что я себя буду чувствовать подонком по отношению к Свете... Мне наплевать... Тогда, все же, - почему? Потому что она пьяная? Хватит! Хватит придумывать отмазки, ответ очень прост: ты чувствуешь, что сейчас стоит начать приставать к Бэлле? Нет... ну так и расслабься..." Расслабиться, однако, не получалось.

Бэлла вышла из закутка со счастливой, хотя и довольно глупой пьяной улыбкой и рухнула на матрас. Сева лег рядом и закрыл глаза. Сон, однако, никак не приходил. Он подумал было, не стоит ли встать и пройтись взад-вперед по улице Штерн, подышать воздухом, когда ощутил, что и Бэлла, как ни странно, не спит. Она повздыхала, поворочалась, а потом, переворачиваясь, прижала руку к его паху. Сева ощутил стремительный приток крови к... нет, не к члену, а к ее руке. Ему почудилось, что вся его кровь, словно обезумев, стала повиноваться не сердцу, ее гонявшему, а Бэллой руке. Он отодвинулся. Бэлла придвинулась. Он отодвинулся снова и почувствовал, что лежит на самом краю матраса. Отступать было больше некуда. И Сева, забыв обо всем, что мучило его, обо всех своих потайных мыслях, перешел в наступление.

Они так и не заснули до утра, и Сева понял, наконец, что значит настоящая, всепоглощающая любовь, он знал, что теперь каждая минута без Бэллы будет для него смертью, нет, хуже, антижизнью. И все это, путаясь в словах и краснея, нет, не от смущения - от счастья, Сева шептал ей на ухо. Она улыбалась и прятала лицо у него на груди.

Утром Сева и Бэлла решили, что перед тем, как она уедет в Тель-Авив на работу, стоит прогуляться по Иерусалиму. Небо хмурилось, а самые низкие облака поначалу даже гладили их по голове. Но потом они спустились вниз - в долину, за которой еще ниже, на фоне зеленых холмов начинающейся южнее Самарии, виднелись стадион "Тедди" и громадный торговый центр. Миновав гору Герцля, "Шаарей Цедек" и перекресток Пат, они вошли в центральную часть города, которая есть собственно Иерусалим: все спальные районы, вроде Гило, Армон а-Нацива, Рамота, Писгат-Зева, - не более чем пригороды Рехавим, Нахлаот, Нахалат-Шива и Старого города, которые составляют Иерусалим. Слева от них оставался сад Ган-Сакер, и Сева уже собирался повернуть направо, на Бецалель, как Бэлла вдруг подергала его за рукав и сказала:

- Я устала, давай посидим в Ган-Сакере?

- Конечно, давай посидим!.. - с радостью отозвался Сева и поймал себя на мысли, что раньше, стоило потерять цель, к которой можно стремиться, ему сразу же становилось тошно, а если он сидел рядом с человеком и оба молчали, то это значило, что контакта не вышло, лучше встать и уйти. А сейчас он сидел рядом с Бэллой на деревянном помосте детской площадки, они молчали, и при этом Сева ощущал, что достиг уж всего, мог с полной уверенностью сказать, что это и есть полнота жизни, что, произнеси он сейчас: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" - и мгновенье действительно остановится, замрет вечностью, он с готовностью просидит так вечно - она не будет для него длиннее мгновенья. И он действительно прошептал: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно..." Ничего не произошло, но Севе показалось, что кроны деревьев на секунду замерли, время на миг повиновалось ему, и стоит сказать ту же самую фразу громче... "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" - и снова весь мир замер, прислушиваясь к магии его голоса. "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" - закричал он уже во весь голос, Бэлла удивленно подняла к нему лицо, потом улыбнулась и просто, буднично сказала: "Я люблю тебя..." - и покраснела. И тогда Сева понял, что своими словами вызвал к жизни волшебство, намного большее, чем остановленное время, - счастье.

Они просидели так, обнявшись и изредка рассеянно целуясь, пару часов, а потом Бэлла вспомнила, что ей пора на работу, и гулять уже было некогда, тем более что идти до автобусной станции было всего минут десять, но у них оставались еще четверть часа, правда, и они пролетели, как одна секунда... И вот Сева уже стоял на дороге, глядя вслед отъезжающему в Тель-Авив автобусу, который увозил от него Бэллу. Но теперь ничто не могло вывести его из состояния судорожного счастья. Напевая под нос какую-то неосознанную песню, Сева двинулся вверх по улице Яффо, просто так, совершенно без цели - куда несут ноги и глядят глаза. Только через несколько часов, усталый и опустошенный, он обнаружил себя в каком-то огороженном со всех сторон овраге в Старом городе, еле-еле вылез из него и пообрел через Армянский квартал на автобус, добираться домой.

41

А следующий день начался точно, как предыдущий: зазвонил телефон. Уже со вторым звонком Сева поднял его с пола и, посмотрев на часы, поморщился - было всего десять часов утра.

- Але... - просипел он спрсночным голосом в трубку.

- Привет, сволочь! - раздался в трубке голос Светы. Сева похолодел. Разборки начинались - за один день счастья теперь придется платить... Хотя, почему... - Значит, только меня будешь ждать? Мразь!

- А... ты откуда уже... знаешь? - выдавил потрясенный таким напором Сева.

- От верблюда! - ответила Света, и в трубке раздалась короткая гудки.

"Так... Значит, Бэлла все рассказала ей, - разогнались в еще не до конца проснувшейся Севиной голове упругие колеса мыслей, - ну что ж, тем лучше, мне не пришлось объясняться со Светой самому. Но почему Бэлла рассказала ей? И в тот же день... Ведь вред ли для того, чтобы облегчить мне жизнь... Так-так-так! Хватит запариваться - лучше позвонить Бэлле и спросить. Да... ведь сейчас всего десять, может, она еще спит. Но, с другой стороны, если Света позвонила мне утром, а не вечером, значит, и узнала она все только сейчас, а сказать ей могла только Бэлла, значит, она уже проснулась... Нет, все же лучше подождать еще часок..."

Сева принялся ждать. Сначала он думал позавтракать, но при виде хлеба его затрясло мелкой дрожью и чуть не стошнило. На спине и лице выступил липкий холодный пот. Он понял, что не может больше ждать. Бэллин телефон... каждый писк нажимаемой кнопки отдается в голове гулким ударом крови.

Мужской голос в трубке: "Але?"

- Доброе утро, позовите, пожалуйста, Бэлле...

- Она спит. А кто ее спрашивает?

- Сева из Иерусалима. Вы не могли бы ей передать, когда она проснется... - гудки в трубке.

Сева лег на кровать, свернулся в позу эмбриона и закрыл глаза. В ушах шумела то ли кровь, то ли боль. Каждая проходившая секунда казалась паровым катком, медленно утожающим его разум - в плоский, аморфный, сочащийся страхом блин. В половине одиннадцатого Сева не выдержал и снова набрал Бэллин номер.

"Да?" - ее... нет... да, ее голос!

- Бэлла? Привет, это Сева...

- Да... - совсем не таким голосом, как вчера.

- Слушай, мне тут звонила Света... Наговорила кучу гадостей...

- Так все-таки звонила... Она не любит проигрывать! - уже веселее прервала его Бэлла.

"При чем тут выигрывать-проигрывать? - подумал Сева, - как будто любовь - это что-то вроде бокса..." - и спросил:

- То есть у вас что-то вроде соревнования?

- Почему "что-то вроде"? - спросила Бэлла, и Сева с ужасом понял, что принимаемая им за веселость интонация была на самом деле - злобой, - мы и поспорили, что если она мужика снимет, то я его всегда у нее на следующий день уведу, если захочу, хоть она, может быть, и красивее меня...

- Но я же... - задохнулся Сева, - я же на самом деле люблю тебя... Как же это так?..

- Ты всех любишь, кто тебе хоть разок даст! У тебя еще много любви в жизни будет... милый! - последнее слово она произнесла таким издевательским голосом, что Сева на несколько мгновений потерял дар речи, потом открыл было рот, еще не зная точно, что

он собирается сказать, но было уже поздно - из трубки снова доносились короткие гудки.

Через минуту, придумав, наконец, что он хочет сказать, Сева снова набрал Бэллин номер: "Але..." - она.

- Слушай, это снова Сева...

- Извини, Севк, я тороплюсь, мне уходить надо, я сейчас с тобой не могу больше разговаривать... Как буду в Иерусалиме и захочу снова поскучать полдня с каким-нибудь кретином в Ган-Сахере, так, может, тебе и позвоню! - на этот раз коротким гудкам предшествовал смешок.

"Нет, этого не может быть! - простонал вслух Сева, хотя и понимал, что может, еще как может, сам же себе говорил пару дней назад по пути из Тель-Авива: вообще от людей надо держаться подальше! И вот... Но ведь было же хорошо, и потом - еще раз когда-нибудь будет... Нет! Нет! Нет! Не когда-нибудь! Или сейчас, или никогда! - и Сева, чудовищным усилием воли отключив внутренний диалог, стал собираться в Тель-Авив. - Если я поговорю с ней при встрече, лицом к лицу, может, то, что она говорила мне, окажется ложью... или бывшей правдой, или..."

"Стоп!" - сказал он в полный голос и решительно вышел из квартиры. А голос его, пойманный белеными стенами, не успел выйти вслед за Севой, так быстро он захлопнул дверь. И голосу ничего не оставалось, как замолчать и дожидаться Севу между белых стен.

Дорога в Тель-Авив показалась Севе сплошным суетливым кошмаром - такое случается, когда начинающийся грипп ловит тебя на работе или в гостях, температура зашкаливает за тридцать девять, а надо еще дойти до автобусной остановки и сохранить сознание до того момента, как мягкая перина, три теплых одеяла и пять таблеток анальгина облегчат безумие. Сева знал, что и его муки могут оборваться раньше чем через час, стоит Бэлле сделать вид, что не было этого телефонного разговора, повернуть все назад, в счастье.

И вот парадное, вот звонок... Сева с трудом удержал подступавший к горлу тугой рвотный ком, скорее даже не удержал, а проглотил с половины пути. Дверь открылась, за ней стоял невысокий сутулый мужичок в засаленном халате и всклокоченной бородачке.

- Добрый день, а Бэлла дома? - героическим усилием сдержав дрожь в голосе, спросил Сева.

- А вы случайно не Сева? - вопросом ответил на вопрос мужичок.

- Сева, Сева-а... - уже не сумев сдержать дрожь, ответил он.

- Ага... Значит, это ты, подонок, мою дочку поматросил да и бросил?! - завизжал по-бабьи мужичок и так же по-бабьи дал Севе пощечину - нет, не ударил, а именно дал пощечину.

Скорее от неоправданности, безумной ничем-неоправданности сказанного, чем от пощечины, Севин разум помутился, рухнул непрочный барьер, скрывающий зверя под маской человека. Сева зарычал и, схватив Бэллиного отца за отвороты халата, оторвал от пола, а потом развернулся прочь от двери, приподнял визжащее тело еще на несколько сантиметров и, спружив всем телом, метнул его вниз - через лестничный пролет. С криком пролетев над лестницей до площадки полужтажом ниже, тело тупо ударилось головой в стену, сантиметрах в пяти над полом и, замолчав, рухнуло, внезапно уменьшившись в размерах.

"Я убил его... - подумал Сева, - а может, и нет... Какая разница. Теперь ничего не будет. Теперь все умерло..." Переступив через Бэллиного отца, Сева вышел на улицу и медленно, скорее интуитивно, чем осмысленно, побрел обратно - на тель-авивскую автобусную станцию.

Час езды из Тель-Авива в Иерусалим привел его мысли в порядок: "Нужно довершить начатое. Взяться за гуж - полезай в кузов. Однако теперь уже нет права на облом - все должно быть сделано скрупулезно точно. На третий раз у меня уже не хватает решимости..."

На рынке Сева купил ручную дрель, пару дюбелей, несколько длинных - с ладонь - шурупов и сел на 18-й. "Последний раз я еду по этому поганому миру в этом разрисованном и запыленном быдлом автобусе! Это, конечно, не счастье, но лучше, чем ничего". Сева вошел в квартиру, даже не закрыв до конца дверь, - наконец-то его голос сумел вырваться наружу и благобно раствориться в миллионах своих братьев.

Просверлить в стене, под самым потолком, две дырки, вбить в них по дюбелю и закрутить по шурупу заняло у него от силы десять минут. Еще пять минут ушло на то, чтобы в три узла привязать к шурупам, торчавшим из стены, петлю. С нетерпением, сравнимым разве с тем, как изголодавшийся любовник срывает одежды со своей любимой, влез он на табуретку, надел на шею петлю и вдруг вспомнил, что уже давно, еще в Тель-Авиве, ему захотелось помочиться. Улыбаясь этой мысли, Сева далеко отшвырнул ногами стул и повис.

Веревка не оборвалась. Севины пятки мелко забарабанили по стене. Из левой штанины на пол потекло, и если бы кто-то заглянул в этот момент в неплотно прикрытую дверь квартиры, то ему могло бы показаться, что Сева Елисеев медленно тает...

P.S.

*Словно целый мир,
Словно снежный ком,
Словно напрямик, наугад, напролом,
Словно навсегда,
Словно безвозвратно,
И опять сначала:
Мертвые не хвалят - не бранят, не стреляют - не шумят,
Мертвые не сеют - не коют, не умеют - не живут...*

Е. Летов



Дина Альперович

ЛОНДОН КАК ЕГО НЕТ

I. Иллюзии - 1

Невозможно забыть яркую цветную обложку книги, где человек с луны ведет непринужденную беседу с крококотом. Фоном для этих сказочных персонажей служит не темно-синяя бумага, а обрывок ночного лондонского неба - эта иллюзия не покидала меня гораздо дольше, чем вера в них самих. Моя психика необратимо запрограммирована на участие в безумных чаепитиях и вежливые беседы с кошками, голубями и статуей адмирала Нельсона на Трафальгарской площади. Надо спросить у полисмена, как пройти на Вишневу улицу, а в случае чего обращаться к мистеру Шерлоку Холмсу, Бейкер-стрит, 221-б. Мифическая Темза, входящая к лорду Бэкингему с докладом, и его столь же мифическая овсянка, неописуемо благородный Джентльмен и Настоящая Леди, Которая Никогда не Ковыряет в Носу, навеки пребывают в каких-то первичных слоях моих представлений о миропорядке. И потому из взрослого Тель-Авива мне захотелось вернуться в этот Лондон за глотком детского воздуха.

II. Сумрачный спутник - 1

Ослепительно красивая и неправдоподобно талантливая девочка из слезовыжимательной повести для младшего школьного возраста предвосхищала вопросы о своей смуглой коже намертво запомнившейся мне фразой: "На юге не была. На пляже не загорала". Согласно авторскому замыслу, эти слова проносятся в качестве последнего прощания над ее головой, прибитой к земле смертью.

В ночных клубах не была. До кровавых мальчиков в глазах не напивалась. Речь шла об игрушечном Лондоне, о детском насморке - но ртуть ползет вверх, поле зрения заволакивает жаркий туман и смерть просится в спутники. Ну, что ж. - вперед, и мой сукр со мной!

III. Иллюзии - 2

Замаскировавшись под джинсо-кроссовочно-рюкзачного туриста, я питаюсь junk-food-ом в McDonald's'e и Burger King'e. Я кормлю гусей в St. James' Park'e и голубей адмирала. Я знаю назубок все пароли и места явок. Наглядевшись на дворцы и соборы, турист не гнушается и собиранием их портативных заменителей: открыток, альбомов, а также собственных фотографий на фоне и с видом на, не говоря уже о том, что он называет сувенирами. Тут и колокольчик с шеи греческой козы, и кусочек многострадального Парфенона, и обрывок рясы французского монаха, и камешек, лежавший у стены Notre Dame. Создавая свои приватные легенды, турист надеется, что хоть одна из них перерастет в громоздкую сенсацию. В погоне за нею стада туристов мечутся по городам и весям, распугивая местных жителей и засоряя все на своем пути. Я смеиваюсь с одной из этих толп и незамеченной проникаю в город.

IV. Фрагмент города - 1

Надпись на стене лондонской подземки:

If I could choose the place where I die it would be London because then the transition from life to death would hardly be noticeable.

Жители такого города должны относиться к смерти философски, не веря ни в ад, ни в рай - точнее, не веря в реальную возможность попасть после смерти куда-нибудь еще. Разве что, подобно их бывшей принцессе Диане, переселиться на дешевый фарфор туристских кружек или на вискозу туристских футболок. Что ж, как гласит приговор обществу и прессы, бедняжка и при жизни была несколько поверхностна. Самое ей место теперь у мадам Тюссо, а может - где-нибудь среди кукол принцессы Мэри, выставленных на всеобщее обозрение в Виндзоре со сладостной надписью "Подарок французских детей". Как будто кто-нибудь поверит в существование этих мифических детей, дарящих незнакомой принцессе драгоценные игрушки.

V. Иллюзии - 3

Прекрасна смена караула у дворца королевы, когда играет музыка и оловянные солдатики в красных мундирах делают странные подпрыгивающие движения перед тем, как застыть на месте, предписанном церемониалом. Лакированные такси и полисмены не менялись с прошлого века. Фонарные столбы цветут фиалками и флоксами. Ручные трафальгарские голуби нежно клюют туристов в ухо, а дикие белки в парках высвистывают "Правь, Британия", исчезая в начищенной листве. А прохлада и пышность музеев! А учтивость статуи! На рынке Ковент-Гарден всегда выпадает счастливый случай поглазеть на выступление фокусников и жонглеров, а на Лестер-сквер постоянно продается пара последних билетов на "Cats" и "Phantom of the Opera". Неудивительно, что волны удовлетворения укачивают разливающуюся по ярким улицам толпу туристов, так что наименее выносливым из них становится несколько не по себе. Такие доступность и изобилие требуют соответствующей отдачи. И уж никак нельзя не полюбоваться домом, где тридцатая жена Генриха Восьмого пряталась от законного супруга, невозможно избежать поездки на двухэтажном автобусе, по преданию возившем еще Бернарда Шоу, нако-

нец, абсолютно немыслимо не прийти в полночь на ту самую улицу, где Джек Потрошитель убил свою последнюю жертву. Все это - тот самый Лондон, который мы знаем по картинам, рисункам и фотографиям, а памятные места и достопримечательности - именно те, о которых мы слышали и читали. Я перечислю несколько, просто для собственного удовольствия: Picadilly Circus, Hyde Park, Westminster Abbey, Tate Gallery, Whitehall, Kensington Gardens. Все находится на своих местах и содержится в идеальном порядке. В злачном районе Сохо, например, поддерживается постоянное количество красных фонарей и пьяных дебоширов. Таким образом, любой турист попадает в Лондон, до звона в ушах похожий на себя самого - на блистающую свежевывеленными фасадами столицу сказочного королевства. Только нечеловеческим усилием воли можно стряхнуть с себя наваждение, остановить нервный тик фотоаппарата, чтобы отличить действительность от декораций, видений и призраков.

VI. Фрагмент города - 2

За долгую и славную историю британской столицы слишком многие ее обитатели, возможно, и не заметив того, перешли черту, разделяющую жизнь и смерть. На чистых и нарядных улицах почти не встречаются живые лондонцы. Их трудно заметить в толпе туристов, да и то при ближайшем рассмотрении они оказываются статуей, портретом, привидением. Вон там, в нише собора святого Павла, стоит каменный Джон Донн. С мыслями о смерти этот метафизик свыкся до такой степени, что, позируя для своего надгробного памятника в последние две недели жизни, надевал саван. До 1631 года он был здесь настоятелем, а потом стал маленькой щуплой фигуркой в нише, ободряющей посетителей полуулыбкой на умном лице. Мы расклинаемся.

VII. Исполнение желаний - 1

Напрасны все ухищрения - Лондон не удается застать врасплох. Он с готовностью показывает все, что посетитель хотел бы видеть, - но то лишь тщательно продуманные декорации, разноцветные стекляшки из застывшего калейдоскопа. Зря стремилась я воскресить восторги и горести прошлого, призывая в свидетели бронзового Питера Пэна, портреты королей и поэтов, - вот же оно, мое детство, переходит Тауэрский мост! Нет. Сюжеты разыгрывались только в моем воображении, они были оптическим обманом, неверным преломлением лучей. Я получила свой Лондон в мерцающей обертке, но детство тут не при чем. Ступени Национальной галереи не были слишком велики для моего шага, я не визжала от страха, посаженная на спину огромного британского льва, и не замирала, зачарованная, перед гигантским кораблем на площади в Гринвиче. Нет, искать



мое детство надо там, куда приходилось возвращаться из дальних лондонских странствий: среди мрачных девятиэтажек и у зацветшего пруда в парке города, привычное название которого можно было обгрызть так, чтоб оставалось пение лягушек.

47

VIII. Исполнение желаний - 2

В том городе ничего не изменилось. Я не говорю о косметических новшествах вроде рекламных щитов, на чьи улыбки смотрят хмурые горожане. Меня не обманывают их праздники и не шокируют будни. Тягостнее всего это знакомое ощущение собственной малой величины, не сдуваемой ветром вечности только благодаря цепкому чуду гордыни, выпестованному инстинктом самосохранения столичного жителя. Чтобы дышать, там по-прежнему нужно преодолеть сопротивление воздуха. Тот город - как женщина, которую любят вопреки ее воле. Она создает все новые и новые препятствия на пути этой любви, приобретает или приписывает себе всевозможные недостатки и пороки во имя драгоценной свободы, но ее любят, назло ей и себе. Горько проснуться утром с ней рядом и осознать всю бессмысленность исполненного желания. Душа ее по-прежнему свободна. На сколько бы ты ни уехал, вернувшись, ты поймешь, что неминуемо опоздал.

IX. Сумрачный спутник - 2

Освободившись от бесплодных поисков, я равнодушно отложила фотокамеру. Мне открылась другая сторона Лондона. Город радостных иллюзий обернулся средоточием исторической мрачности. Его фундамент - миллионы исчезнувших жизней. Шок, сравнимый с тем, какой испытывает почтительный интервьюер, выслушивающий признание известного детского писателя в тайной педофилии. Все те же туристские тропы вели теперь куда-то во тьму небытия, и даже знаменитые лондонские театры развлекали репертуаром убийств и явлениями призраков. *The Phantom of the opera was here, inside my mind.*

X. Фрагмент города - 3

Лондон - это настоящий город мертвых. Карта захоронений, выдаваемая посетителям Вестминстерского аббатства, великолепно дополняется такой же схемой церкви Виндзорского замка: начиная с Эдуарда I, практически все члены королевской семьи, кроме казенных в Тауэре, погребены в одном из этих храмов.

Настоящий символ Лондона - не трафальгарский голубь, но тауэрский ворон, хранитель статус-кво. По преданию, именно присутствие воронов в стенах замка гарантирует сохранность в Англии ныне конституционной, но все же монархии. Недаром огромные черные птицы наслаждаются невиданной свободой. Несколько лет назад они заклевали девятилетнюю девочку.

XI. Сумрачный спутник - 3

Трудно подводить итоги путешествия, которое еще не завершено. Еще не раз под видом туриста буду я появляться в чужих городах в поисках прошедшего или несбывшегося.

Когда-нибудь я вернусь и в увиденный мною Лондон. Я еще буду бродить меж красных и серых домов, гулять по паркам, кладбищам и музеям. Настанет день, и я обнаружу себя стоящей в оцепенении под гипнотическим взглядом ваноговских подсолнухов, принадлежащих Национальной галерее. Отсутствие удовлетворенных и неудовлетворенных желаний принесет долгожданные покой и свободу. Я предвкушаю ту призрачную легкость, с которой в день всех святых выйду в мир на прогулку, чтобы пугать живых.



Наталья Бершадская
БЕЗЗАБОТНАЯ ПРОГУЛКА

Маме

1. После ванной

Горячая вода наконец перестала литься сверху. Я открываю глаза и тут же закрываю их снова. Щиплет - мама протягивает мне полотенце, я наощупь вытираю лицо и опять открываю глаза. Ярко, железные краны над душем запотели. Мыльная пена, крутанувшись, скрывается в черной дырке.

Мама дает мне в руки душ, чтобы я не замерзла, и мылит мне спину. Полей на мочалку. Слабо намыленная, мочалка скрипит по спине. Я переворачиваю душ, он фонтаном бьет вверх. Мама отскакивает и кричит. Халат у нее весь мокрый.

Потом она уходит за свежим полотенцем. Я затыкаю дырку в ванной тяжелой железной штучкой с кольцом, залезаю на ступеньку, куда ставят, когда моют, ноги, и гляжу на прибывающую воду. Бедствие, Робинзон. Теплая вода уже касается пальцев моих ног, а помощи ждать неоткуда.

Приходит мама, выключает душ и вытаскивает затычку. Последняя вода с глотательным звуком уходит в трубу под ванной и утихает. Я вытираюсь и вылезаю - сначала одна нога, потом другая, - пытаюсь попасть в мокрые тапочки. Мы с мамой выходим в прихожую.

После ванной здесь холодно и ясно. Сюда вынесли на время купания тазы с бельем. Зеркало при нашем появлении затуманивается. Я открываю дверь и иду через большую, - где сидят бабушка и папа, - комнату в свою. Мама уходит принести чистую наволочку, остальная кровать уже перестелена, свежая и незнакомая. Я сажусь на нее и жду.

Входит мама с наволочкой, с полотенцем, которое положит на подушку, чтобы мне не было мокро. Потом причесывает меня. Волосы уже холодные...

Мама гасит свет, и они по очереди приходят сказать "спокойной ночи". Закрывают дверь.

Щелка под дверью. Очень темно. Комната постепенно синее. Я гляжу, как по потолку от угла к углу катят полосы света, и думаю, что это взрослые в той комнате ходят вокруг стола на цыпочках. Я вспоминаю одну вещь, переворачиваюсь на живот и, сунув руку, достаю из-под матраса несколько мандариновых долек. Уже засохли. Я раскладываю их по подушке. В мандаринах, кроме нормальных долек, бывают еще маленькие детки, я прячу их. Беру одну дольку и с уважением кладу в рот. Кожица стала жесткой, а мякоть почти исчезла. Я глотаю, убираю остальное в щель, сую руки под холодную подушку и кладу на нее голову. Под лучом блестят глаза висящей на стене собаки. У нее на животе в кармане хранятся мои носовые платки и косынки.

2. Загадка

Я гуляю и гляжу, где что лежит, как в магазине "Мебель", где стоят шкафы и комоды. Около длинного ряда полок я сворачиваю и, оказавшись в незнакомом месте, понимаю, какой это большой базар. Рядом женщина продает куклу на полированном ящике. Кукла сидит, сунув ноги в маленький голубой огонь. Покупать ее с ящиком неудобно. Тут, чтобы что-то объяснить мне, кукла начинает медленно тянуть в воздухе, последними ее ноги в серых женских чулках. Ее нет.

Но это еще не все. Я стою и вижу, как щелкает огонь в углу пустой площадки. Сначала прозрачной тенью возникают очертания рук и коленей, и она снова сидит, прямая и совершенно равнодушная. Нужно успеть понять, пока она здесь. Купить ее у меня не хватит денег, и придется целую вечность простоять тут, в тоске ожидая ее появления и решая, куда она исчезает.

3. Наблюдения

На солнечном пыльном балконе тепло. Табуретка качается на неровном асфальтовом полу, я шелушу с нее краску и смотрю сквозь щель в перилах вниз. Там ходят голуби, кивая при каждом шаге головами. Кусты уже распустились, на земле лежат окурки и мокрые цветные бумажки по краям луж.

Я встаю и смотрю вдаль. По шоссе быстро катятся к метро машины. Я протягиваю ладонь вперед и пытаюсь понять, поместится ли на ней та тяжелая машина с обочины. Поместится. А человек будет свободно разгуливать туда-сюда.

Внизу книжный магазин, а рядом привязана к дереву собака. Я рассматриваю ее и вдруг думаю, что все это можно описать, и получится книга. Восхищенная, выпутавшись из занавески, я срочно требую у бабушки блокнот. Порывшись, она дает мне почти чистую телефонную книжку, и я бегом возвращаюсь обратно.

Собака, слава Богу, еще не ушла. Я начинаю писать. Вижу собаку, она черная. Она не лает а смотрит за голубем. Оказывается, писать стоя очень неудобно, а сидя я вижу только несколько веток тополя, небо и самолетики - они летят с балкона над нами. Теперь понятно, почему книги пишут так редко. Впрочем, можно стоять и смотреть, а когда что-нибудь случается, садиться и записывать.

Я жду. На балконе ничего не происходит. Пришла толстая тетка с сумкой и отвязала сидящую столбом собаку. Бабушка позвала меня обедать. Я вымыла руки и вышла из ванной. Снаружи раздавались странные удары, звон и грохот. Я бросилась на балкон.

Внизу по улице бежала белая лошадь. Человек в стеганой куртке погонял ее кнутом, а сзади подпрыгивали башни из пустых молочных бутылок в ящиках. Лошадь бьет во все стороны копытами, телега мотается, машины жмутся по бокам. Грохнула еще раз на повороте и свернула на шоссе за угол.



4. Игры

51

Натуля, идига-тово! Я бреду в ванную, в прихожей просовываю руку под вешалку с тяжелой шубой и нашариваю свет. Дома одни мы с бабушкой, родители на работе.

Я тихо сижу на унитазе и гляжу на висящие передо мной на крючках полотенца. Потом протягиваю руку и тяну из одного, полосатого и махрового, торчащую нитку. Она немножко вылезает и обрывается. Я кладу ее на коленку и разглаживаю. Коротка. Тяну другую - снова не получается; наконец, вытаскиваю рыжую нитку, очень осторожно, по чуть-чуть, она никак не рвется, и от нее на полотенце остается длинная лысая дорожка.

Я аккуратно кладу нитку на ящик для грязного, встаю и роюсь в пластмассовой корзинке, которая висит над раковиной. В ней лежит шуршащий пакетик с ватой, расческа со сломанным зубом, крем для бритья (плохо выдавливается, пахнет сладко), отдельная крышечка от тюбика, нить зубная щетка, коробок спичек, какие-то "жженные квасцы" и маленькая круглая жестянка с красивым именем "Вазелин". Подцепив ногтем, открываю: у стенок еще есть немного блестящего розового вещества. Это, видимо, благовоние.

Я вынимаю из коробка спичку и обвязываю ее за талию ниткой. Пусть исследует черную дырку под раковиной, куда уходит вода. Я проталкиваю ее сквозь решетку и понемногу спускаю вниз. Наклонившись, я вижу: стенки трубы под раковиной покрыты слизью и потеками, как колодец в "Теме и Жучке". Надо вытаскивать ее. Я сматываю медленно нитку, она вдруг натягивается, дергается и обрывается. Спичка остается там.

Я достаю из коробка другую и обвязываю ее. Мне становится жарко и немного страшно. Пусть эта посмотрит, что там творится. Я опускаю ее и думаю о первой - мне стыдно перед ней. Теперь обратно. Нитка снова напрягается, но потом ослабевает, я тяну вверх, и из трубы вылетает моя спичка, а за ней - о чудо - и вторая, то есть первая. Я снимаю нитку, в награду макаю спички в "Вазелин" и с почетом устраиваю их в мыльнице.

Я наклоняюсь над раковиной и смотрю в нее. Кран немного протекает, и благодаря брызжащей струйке стенки раковины населены крупными и мелкими каплями, среди которых идет кипучая жизнь. Появляются новые, старые становятся слишком тяжелыми и молниеносно стекают в трубу, одни капли глотают другие. Между ними есть очень красивые - особенно выпуклые, собравшие свет в маленькую яркую точку.

Бабуленька стучит кулаком в дверь. Я мочу руки под струйкой и брызгаю на дверь всеми десятью пальцами, еще и еще. Теперь капли живут и здесь. Я снова присаживаюсь на унитаз и смотрю, как они катятся по двери. Некоторые устают и застывают, некоторые ползут потихоньку, иногда отдыхая, некоторые долго идут рядом, а потом сливаются и стремительно сбегают вниз, к кафельному порогу. Надо вылезать. Я встаю, вытираю капли своим полотенцем (а то мама как-то раз удивилась, почему дверь в ванной вся мокрая), сую спички в карман и открываю маленькую задвижку с содранной краской. Волоча затекшей ногой тапку, иду на кухню. Бабуленька сердита - все остыло. Я сажусь. В тарелке с бульоном в каждом пятнышке жира сияет отражение нашей кухонной лампы. За это время стемнело. Я беру ложку и начинаю тихонько подгонять жиринки одна к другой, чтобы они все слились в большое пятно.

5. Выходной

Мама выгоняет нас гулять. В доме влажно и тепло - она устроила стирку и собирается мыть полы. Мы одеваемся, договариваемся прийти к обеду и спускаемся на улицу. Здесь кончается зима. На асфальте уже есть светлые кусочки. Я стараюсь наступать только на них и прыгаю.

Мы идем к автобусу через дорогу. В книжный - на обратном пути. Надо проехать три остановки до метро. Автобус. Сильно забрызган грязью по бокам и пахнет бензином. Перешагнув через ручей у края тротуара, влезаем.

Я смотрю в окно. Ярко светит солнце, по прошлогодней траве бегают собаки. Автобус потряхивает нас, и я подсакиваю. Мы почти у метро, уже вылезать. "Если бы о нас писали историю, - говорит папа, держась за поручень, - то сказали бы так: "Наши путешественники двинулись в путь. Выйдя на площадь, они увидели..."

Марочный киоск, мороженое, булочную-кондитерскую, заморзших бабок с цветами. Мы идем от метро к лесу. На этой улице тише, прохожих не видно. Мы с папой поем "Беззаботную прогулку", музыку, которую он подарил маме на день рождения. "Ту, ту, ту", - пою я. "Ту, ту, ту", - отвечает папа. Мне весело.

Впереди виден темный лес. За ним - дом, а рядом - подъемный кран.

Стоит над этим домом
Большой подъемный кран,
И поднимает дом он,
Как будто чемодан,

- сочиняет папа. Мы подходим ближе. Я надеваю перчатки. Здесь нет солнца и очень холодно. Асфальтовая дорожка во льду, а под деревьями лежит снег с водой. Я чихаю, и мы решаем сегодня пойти не в лес, а еще куда-нибудь. "Например, в Выставочный зал", - предлагает папа. Это совсем рядом.

Мы идем. Начинаются облака, и становится сумрачнее. Ноги немножко мокрые.

Выставочный зал - длинное низкое здание. Мы открываем дверь и говорим тише, ступая по серому ковру. Отдаем пальто и поднимаемся по лестнице наверх.

Здесь у стен в больших комнатах стоят полированные деревянные чудовища, висят вышитые скатерти и каменные бусы на шнурах в витринах. Я бегу в следующую комнату - тут расставлены домики с плоскими крышами. Около каждого сад, маленькие деревья, дорожка - но я спешу вперед, туда, к высокому деревянному ящику, закрытому сверху стеклянным колпаком, и поднимаюсь на цыпочки, чтобы понять, что там внутри - наверняка самое прекрасное.

Но то, что я увидела там внутри - древнее украшение с бирюзой,



деревянную игрушку "Как мужик с медведем репу сажали", исчезающую куклу с голубыми ногами или что-то еще, - сейчас уже я вспомнить не могу. Подходит папа. Нам пора, кажется, идти. И книжный закрывается на обед. Мы медленно спускаемся вниз, берем одежду, застегиваемся, выходим и поворачиваем назад к метро.

ТУРГЕНЕВ

Дверь на террасе закрыта. Уже давно темно, и нужно выйти на улицу завести велосипед. Я встаю из-за пустого стола и, скрипнув, выхожу; за мной стучает дверь. Над полем, за оградой, поднимается туман, и я схожу с крыльца.

Мокрый велосипед лежит в траве. Выходит дедушка. Я ставлю велосипед за холодный руль прямо и тащу его вверх по ступенькам, в дребезжании и толчках. Дедушка, тяжело дыша, заносит следом второй, маленький. Когда я открываю дверь и вкатываю велосипед на террасу, светлая вода в ведре, на табуретке слева, дрожит, и по ней проходит тень. Я прислоняю велосипед к остальным, стоящим у стены под лестницей, звонок дренькает.

Я иду в туалет и умыться на ночь. Родителей сегодня нет. Я буду читать в постели допоздна. По дороге к себе я отламываю от камина свечку, и рядом захватываю пыльное блюдце, и тихо поднимаюсь. У меня горит свет и открыт балкон. Я придвигаю тяжелый коричневый стул, кладу на него блюдце со свечой, расстегиваю джинсы и, сидя на холодной простыне, раздеваюсь. Потом чиркаю спичкой; стеарин капает с косо наклоненной свечи, я укрепляю ее. Тургенев под подушкой. Я добегаю до света и прыгаю обратно под одеяло, пламя качается, я сразу понимаю, что все уже уснули, я одна, я вытаскиваю Тургенева, раскрываю и нахожу место. "Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание". Тайное волнение охватывает меня и свечу. Я не шуршу, переворачивая страницы. Постепенно становится совсем тихо, теперь уже все спят глубоко, я перевожу дыхание. Я читаю длинный разговор: "Вы называете дружескую беседу болтовней... Но то, что в вас теперь происходит... Происходит!" - "Я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились". Мое сердце начинает быстро стучать от неожиданности. "Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его, видимо, трепетало". Он напомнил мне залетевшего в комнату, бьющегося о балконное стекло мотылька. Это страсть в нем билась, сильная и тяжелая.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Мгновение она стоит, полосато освещенная фонарем, там, где поблескивает вешалка, и оставляет меня во внезапной тишине. Я сижу на кровати, удивляясь тому, как это происходит. Потом я ложусь, задув свечу и спрятав Тургенева под подушку.

Татьяна Ахтман
ЧЕТЫРЕ ЭТЮДА

1

В студенческие годы была у меня знакомая по имени Люба, которая мнила себя секс-бомбой. Весила она более ста кило, имела буйные сорняки на своих поверхностях, но все это не мешало ей наслаждаться идеей своей избранности. Идея эта никогда не подтверждалась воплощениями, но при этом не тускнела. Если молодой человек, который назначался в дежурные обожатели, не проявлял активности, то Люба объясняла это интригами, эффектом любовного оцепенения и т.п. роковыми обстоятельствами.

Многие вокруг знали о ее причуде и часто потешались, подыгрывая и изображая восхищение. Считалась она дурочкой, но были и такие, что видели в ней счастливую и даже завидовали ее неразмennому рублю - мол, что еще человеку нужно - всегда сыт и пьян. Многие пользовались ее придурью, чтобы тоже попить-поесть на дурняк за пару бросовых комплиментов: "Любаша, что же ты? Ведь N по тебе сохнет - загубишь парня... да, трешки не найдется занять... а то... такая напасть..." - девичьи глаза в траурной рамочке наливались поволокой, и Любаша платила. В остальном она была идеально среднестатистична.

Было нечто, неприятно трогавшее меня в нашем знакомстве. Это "что-то" со временем проявилось в памяти отчетливой.

У Любаши часто собирались компании. В ее квартире было две комнаты, и все чувствовали себя там как-то даже не принужденно, а... безответственно... словно все, что происходит в присутствии Любаши... как-то не взаправду, а понарошку - за все заплачено неразмennым рублем, и если сигарета случайно упала на ковер, то можно не обращать внимания - как-то само собой потушится и уберется. На вечеринках у Любаши была атмосфера... бессильного буйства, как будто всех покидали сдерживающие силы, но вместе с ними терялось еще что-то, без чего было как-то пусто... Шуток, смеха и объятий становилось все больше, радости... меньше... Густела тема о хозяйке - покорительнице мужчин, компания прокисала в утробном веселье, и только Любаша полнела торжеством: царила и властвовала.

Не скоро я узнала, что у нее есть родители, похожие на сямских близнецов. Пару раз я замечала их крадущуюся в подъезде тень, а однажды, зайдя к Любе за учебником, увидела одинаково тревожно-просительные лица, выглядывающие из двери кухни. "Это ко мне", - незнакомым жестким голосом сказала Люба, и двуглавое пятно метнулось и скрылось.

Люба была единственным поздним ребенком, стремительно переросшим папу с мамой, которые не могли узнать, что с ними случи-



лось, как не может узнать лесная пичуга в своем гнезде кукушачье яйцо. Выше сил было им думать, хорошо это или плохо, что из их тоски и одиночества, из желания быть "как все" возникла та, что властно заполнила собой пустоту их жизни и которую они назвали Любьюю.

"Ко мне придут", - говорила Люба, и это значило, что они должны приготовить все, что велено, и идти гулять, но не в свой двор, где их могли увидеть, а в соседний, где в дождь можно было укрыться в песочнице под грибок, а в холод и ветер - в подъезде у батареи.

Прошли годы, родители исчезли на кладбище, замуж Любаша не вышла и детей у нее не было, но были какие-то хронические романы, о которых она, взволнованно дыша, рассказывала при случайных встречах, и были "новости от Любашки", как за глаза называли ее старые знакомые, повзрослевшие, разбежавшиеся по своим каруселям. Теперь каждый платил уже за себя и, казалось, несоразмерно большую цену, чем стоило катание на обшарпанной лошадке... словно в стоимость билета влетались какие-то трудноисчисляемые проценты.

Ни одной счастливой судьбы.

Любаша содержала каких-то придонных жителей. Каждый ролик ее иллюзиона оканчивался скандалом с милицией и победой прописных истин: прописанного на жилплощади добра над непрописанным злом и торжеством Любви. Как-то выходило, что всякий раз Любаша отдавалась страстям в рамках, сохраняющих ее имущество. Исключением был белый шпиг, у которого все документы содержались в идеальном порядке. как и у самой хозяйки, и с которым она неизменно прогуливалась по улице, как по набережной Ялты.

2

Так, старое полужнакомство... Она без устали, правильно и последовательно строила свою жизнь, но... концы связывались с концами, минуя начала, и мужья уходили, а с детьми случались несчастья... Так бывает с новичками в шахматной игре. Они вдруг пронзаются пониманием стремительной победы своих белых в пять ходов и устремляются к цели, на пределе сил удерживая в мысли комбинацию "шаха и мата". Они поглощены своей игрой и забывают про партнера. И вдруг атакующая королева взлетает в воздух, и все пропало - конец... и нужно связывать его с другими концами... в мире-предателе.

Она похожа на большую черепаху у кладки своих яиц в песке ночного пляжа. Сосредоточена на цели - очень занята: спешит успеть до восхода солнца вернуться в море. И вот, ее осветили прожектором, и она увидела свои уродливые лапы, страшную тень и перемешанные с песком разбитые яйца. Она силится поднять голову и посмотреть, откуда этот слепящий луч, но панцирь давит шею и виден только ярко-черный песок. А потом ее пинком переворачивают навзничь, но и в перевернутом зрачке все та же кашка из песка, перемешанного со слезами. А потом куда-то волокут, и уже ничего не кажется.

Мы сидели с ней однажды на лавочке в каменном дворике у пересохшего фонтана. Она роняла неправдоподобно огромные слезы и рассказывала, как ее сын сказал: "Я не сторож брату своему". А теперь он бросил школу, и улица утянула его куда-то... и вот, вся кладка погибла...

Я сказала ей тогда... "вспомни что-нибудь счастливое - яркое, пусть это будет иллюзия, но только... твоя...", я сказала ей: "это станет твоим домом - ты сможешь приходить в свое счастливое воспоминание, как домой, чтобы отдохнуть там".

Она подумала и посмотрела на меня - ее взгляд казался отраженным светом северного сияния,

но вот в нем разгорелся уголек, словно кто-то подул на тлеющую мысль, и она робко улыбнулась: "шах и мат в пять ходов..." - глаза ее теплели - "дом... из песка..."

На галерке робко кашлянули, огромный зал, затаив дыхание, смотрел на обледенелую пустыню и пылающий лед подмостков.

3

Иногда я играю в такую игру. Говорю себе: "Ну вот и Бродвей - как ты хотела", и оглядываюсь с любопытством. Течет разноцветная толпа. Мужчины в костюмах и галстуках. Лица приветливо отстраненные. Поток предупредительно равнодушен. Стена из пестрых добротных домов, витрин, столиков - все так стильно и по-хозяйски, что похоже на убранство гигантской американской кухни...

Я плыву по течению и причаливаю на скамеечку в крохотном сквере из трех желтых акаций. Наблюдаю Бродвей. Счастливы ли эти люди тем, что живут здесь... можно ли быть счастливым от дыхания, если никогда не приходилось задыхаться...

"Счастливые люди, - говорит по-русски старичок, деликатно присевший на другой конец скамейки. - Прихожу сюда каждый день, и всегда на эту скамейку садится кто-нибудь из России, и можно приятно поговорить. Знаете ли, в кафе дорогогато, да и редки там наши..."

Странно, я могла бы устроиться где-нибудь под одним из этих приветливых зонтиков, пользуясь своей волшебной свободой. Могла бы подняться на круглое мраморное крыльцо и войти через вращающееся стекло в декоративный кофейный рай. Почему даже в мечтах я не переступаю порог реальных возможностей. Возможностей... что я знаю о них? и о реальности... Нужно спросить у старичка...

- Сударь...

- Сударыня? - охотно отозвался он.

Я зажмурилась от радости, продлевая мгновение ласкающего звука... как я соскучилась по этому слову, похожему на снег, летящий на фонари опрокинутой площади.

- Метет, - забю пожегился старичок, поднимая воротник, - порыв ветра сорвал снежную шапку со сфинкса и швырнул ее в низкое небо. Сани неслышно неслись вдоль набережной.

- Сударь, почему вы заговорили со мной по-русски? - спросила я.

- Ваше лицо... это невозможно спутать... я много путешествовал: теперь везде бродят люди из России.

- Мы могли бы поужинать... - я развязала пуховое кружево и сбросила душистый мех на услужливые руки. Мы вошли в круглый зал из голубого атласа. Сели в подобострастные кресла. В зеркалах засуетились тонкие бархатные тени. Лакей завис над бокалами.

- Ну, каковы мои возможности? - улынулась я.

- О да, я - свидетель, но без меня... - он едва заметно пожал плечами. - России нужны свидетели. Вы даже в мечтах нуждаетесь в одобрении...

- Сударь?

- Как дети... Вы могли бы сейчас сидеть в обществе Баритона или английской королевы, а предпочли меня. Вы боитесь неудачных отражений и слишком много философствуете, вот, полюбуйтесь, как суетливы ваши мысли.

Мы сидели в пустынном сквере на облупленной деревянной скамейке в конце пыльного лета. Наискосок, у почты, спиной к нам стояли гипсовые фигуры пролетарского вида.

- Россия распадается на отражения в беспомощных лицах. Знаете, раньше на Бродвее не было этой скамейки - я точно помню. Да и не могло быть... вы только посмотрите... Действительно, ветхое сооружение из пяти щербатых досок (шестая оторвана)... конфузливо прятало под сиденье чугунные ноги.

- Вы тащите в себе Россию, - вздыхал старичок, - даже в своих мечтах не свободны. Зачем вам эта скамейка, ведь вы хотели прогуляться по Бродвею?

- Но я должна же где-нибудь быть, - шепот сорвался и, покружившись, упал на белый лист.

4

Подробности еще в счет - не все ли равно... Ну, допустим, кто-то украл платок, устроил интригу, передвинул стрелки, и вот... выехал поезд из пункта А, и в темных яростных пальцах перестала биться голубая жилка... то есть смешались ярость и пульс, отказали тормоза, исказилось прелестное лицо... или, тоже... еще вот: налил спящему в ухо яду... тот замычал, дернулся и, ах-ах! - какая победа, вот сvezло так сvezло... Гертруда, иди посмотри: шах и мат... и трупы тащут на край и бросают, а некоторые идут сами, как она тогда. Зашла в ванную комнату: справа стиральная машина "Чайка" - полуавтомат. Шланг для стирки все время соскальзывает, и темная мыльная вода хлещет, как из пробоины в трюме, и потому пол в ванной всегда очень чистый. А клеенка по периметру потклеилась, и ее хочется содрать, как облупленную после загара кожуцу, но новая - молодая и розовая - не обнаружится, вместо нее возникнет испачканный желтым клеем с черноватыми пятнами плесени шершавый бетон, крашенный когда-то в цвет больничной панели, - так выглядит край. Она сидела на краю ванны и толкла в чашке деревянной толкушкой для картофельного пюре. Почти у носа сохла на трубе парового отопления школьная форма тридцать шестого размера - синяя, московская - дефицитная, муж привез из командировки. Чтобы купить такую, нужно было попросить кого-нибудь в универмаге показать свой паспорт с московской пропиской или дать взятку продавцу. А украинская - коричневая - намного хуже: мнется, сидит мешком.

Она пощупала еще влажную ткань и решила прежде выгладить костюм, потому что им потом будет не до того. Рассчитала, что четверг для всех - самый подходящий день, убрала, пересмотрела свои вещи и выбросила все, что не сможет пригодиться, приготовила обед на неделю вперед. Воду в чашку с белым порошком решила долить до половины - больше глотков она не осилит. Затем выгладила форму, вернулась, налила теплой воды из-под крана, размешала, выпила горькую жижу, налила еще немного, взболтала, выпила последний глоток с осадком, помыла чашку, хотела поставить на место, но не смогла, и чашка упала и разбилась, а напоследок подумала, что кто-нибудь теперь наколет ногу.

Анна Резницкая

МЯГКОЕ, ЖЕНСКОЕ

Несчастливые обстоятельства жизни сложились таким образом, что в последнее время мне на глаза попало несколько произведений, причисляемых особо ядовитыми критиками к разряду "женской литературы". Я дамский пол вообще не очень люблю. Но уж дам-писательниц... Поэтессы, конечно, еще хуже, но их и издают меньше.

Что меня поразило в современной женской литературе - однообразие не только содержания ("о, одиночество, как твой характер крут"), но и формы. Видимо, кто-то, на редкость доброжелательный, подсказал дамочкам, что нынче принято писать непонятно. Рецепт прост как мычание - на два абзаца набор слов, связанных между собой не по смыслу, а по звучанию. Потом легкий поворот к теме одиночества, а в конце - подсознательное желание умертвить любимого. Не очень сложно, если вдуматься. И уж гораздо легче, чем стихи, - там если не рифму, то хотя бы размер соблюсти требуется. "А что, - подумала я, - надо попробовать". Результат эксперимента перед вами.

Капли. Капель. Медленно. Медлительно. Как касание не описательного. Или неописательного. Распластанная идиллия на бессмысленных иллюзиях. Он не появился - он не уделил внимания, не успел, не захотел, не смог. Просто, как правда, - ненужность существования для другого. Я есть и меня нет. Кто-то так же не нужен мне. Никто не нужен. Не кто-то, а никто. Он как Никто мне нужен. Как бесконечное никто и ничто. Пустынность определения с конечной целью объяснить. Понять - позже, точность формулировок - главное, зачем понимать другого, когда нужно объяснить - объяснить себя. Кто нужен? Он сам, идея о нем? Идея нужности его для меня как идея вообще - иллюзия счастья нужнее самого счастья. Ценность реальности скатывается к нулю. Присутствие раздражает, отсутствие - вот настоящее счастье, отсутствие полно иллюзий и буйной фантазии. Вблизи все настоящее, вблизи - нет места, все заполнено им же. Он заполняет пространство и вытесняет мечты о нем. Разочарование перерастает в раздражение. Пусть уйдет. Сгинет. Пусть не появится - иллюзия страдания дополняет счастье. Если бы появился, мы бы... Наслаждение истинного переживания, все по-настоящему, все, как там, где читали. Душащие слезы, успокоение сном, пробуждение в одиночестве - не сравнимо с просто свиданием, где все как всегда. Растяжение и растягивание удовольствия неслучившимся. Перебирание, как четки. И это, и это, и это - и все это могло бы... Но не случилось. Не произошло. Не удалось. Я свободна - я могу любить дальше, мучительно переживать разлуку в надежде, что она не прервется обиденным. Обычным и не удивительным. Таким же, как все, что было до этого. И все, что будет потом. Неземная страсть - страсть к отсутствующему. Смерть любимого - идеальное завершение романа. Теперь я могу любить его вечно - свидание не разлучит нас.

глубину. Россия - это все-таки Азия и Европа, у России своя историческая роль, и я люблю ее играть. Мне очень легко жить в России, потому что мой прадед по отцу был казак, а моя мать - чистокровная татарка. Во мне две крови. Другой мой прадед был муфтий - мулла. Азия - Европа, меня это раздражает, я не могу себя поделить... Может, поэтому мы так популярны, черт побери? Чем Россия вообще отличается от Америки? Американец видит зло, и он его - р-раз! - и нырнул до самого дна. Вот и сейчас Россия в таком колоссальном зле разбирается - кому-то ведь надо это расклебывать. Америка не напрягается, это иное восприятие, иной подход. Я очень люблю Россию и знаю, что у нас еще много впереди. Сейчас, конечно, дерьмо и сумерки, и страшно жить, и много людей умирает - у меня похороны каждые три месяца, но, с другой стороны, уныние - грех.

- **И многие так думают?**

- Многие. По крайней мере, вся группа "ДДТ".

- **Многие рокеры, когда были ельцинские выборы, участвовали в "Голосуй или проиграешь". А другие - как Егор Летов - встали за коммунистов.**

- Я Летова вообще называю двоечником. Талантливым двоечником, но ему не хватает понимания культуры. Поэтому он пошел к красивым, к Лимонову - к людям, которые у меня, кроме печали, ничего не вызывают.

- **Но Курехина же нельзя назвать двоечником?**

- Он гениальный человек, что и говорить. Отличник и двоечник - это два полюса одного непонимания. Может быть, Курехин не понимал, что нельзя играть с людьми, нельзя делать из них искусство, тут можно заиграться.

- **Каких тем ты никогда не коснешься?**

- Я не могу врать. Не могу быть идиотским оптимистом, как сейчас попса, которая говорит, что, мол, народ устал, надо дать ему отдохнуть. И нашел на телевидении вечный праздник. В моем понимании праздник - это не обязательно ресторан, где девки пляшут голые. Правда, сейчас на телевидении сложилась очень хорошая ситуация: коммунаки напугали всех телевизионщиков, и, может, сейчас нас опять начнут показывать.

- **Когда было сложнее всего?**

- Да всегда сложно. Просто талантливым быть мало, нужно еще как-то достучаться. Нужно здесь (постукивает по лбу) такую кость иметь... У меня от этих достучиваний уже мозгов почти не осталось.

- **Что может заставить тебя уйти со сцены?**

- Со сцены - не знаю, из рок-н-ролла, может, и уйду. Не хочется все-таки превращаться в "Роллинг стоунз", Джаггер уже старый мудака... Там уже один шоу-бизнес голимый - никакого драйва, духа, ничего нет - все это шалито, я очень боюсь, как бы "ДДТ" в это не превратился. На Западе много таких старичков, которые уходят из рок-н-ролла и продолжают делать чистое искусство - выставки, фильмы, инсталляции... И я тоже иду в этом направлении.

- **Что тебя интересует в современной западной музыке?**

- Многое. Меня даже Мэрилин Менсон интересует. Кейва последний диск клевый. Сейчас вообще интересная в мире ситуация - столкновение



разных стилей, все ждут какого-то Ренессанса. Кстати, у нас была идея привозить в Питер западные группы - "Garbage" и т.д., - чтобы приехали не только "Бонни М" и "Дип перлл".

- Не переключалась ли ваша продюсерская деятельность - театр "ДДТ" - с творчеством?

- Всею свое время. Раз мы, вместо того чтобы купить квартиры и машины, поставили два фестиваля и этому рады. Сейчас я больше занят своим творчеством. На самом деле на тех фестивалях я очень много получил - общался с пацанами, слушал новую музыку и в очередной раз помолодел, как Феникс, блин.

- Как ты оцениваешь социальную обстановку в России?

- Основной психоз в Москве, в провинциях все гораздо спокойнее и тише. Мы пытаемся вносить в ситуацию какие-то свои положительные эмоции, провести черту между добром и злом. Я выступал перед фронтовиками чеченской войны. Спросил: кто из вас имеет работу? - поднял руку я и еще один парень. Полторы тысячи голодных пацанов, от которых уходят жены, потому что у них нет работы, которые готовы просто взять оружие в руки и добиваться хлеба, денег, места под солнцем. Они умеют воевать, но кто будет их командиром? Россию спасает историческая усталость российского народа. Я поражаюсь этому терпению, и уповаю на него, и молюсь. Пока это единственное, что держит.

ПАМЯТИ АНДРЕЯ "СВИНА" ПАНОВА

*Умереть в морозную погоду,
И когда на крышах тает снег,
Умереть в морозную погоду,
Умереть, так взять и умереть...*

А. Панов, 1995, апрель

В морозную погоду не вышло... Андрей "Свин" Панов, отец русского панк-рока, легенда при жизни, умер 20 августа... Двадцать лет без одного года просуществовала его группа "Автоматические Удовлетворители".

"АУ" возникла в Ленинграде в 1979 году на грёбне волн панк-рока, которая захлестнула Европу, но, разбившись о железный занавес, лишь обдала брызгами Советский Союз. И первым, кто распробовал дурманящий вкус этой влаги, был Свин. Именно ему принадлежит самая первая, судя по всему, панк-песня на русском языке: "Выруби сук".

Широкую аудиторию группа нашла в середине 80-х, когда появились альбомы "Терри, Черри, Свин" и дочерняя группа "АУ" - "600". В 1987 году "АУ" выступила на V Ленинградском рок-фестивале, где, естественно, произвела изрядный скандал, и из сорока минут, отведенных ей на выступление, пятнадцать ушло на безуспешные попытки ведущего согнать Свина со сцены. На следующем Ленинградском рок-фестивале группа сыграла намного увереннее, а в начале девяностых даже попыталась выступить на телевидении, но Свин напился и спеть ничего не смог...

Совсем уже недавно группа записала двойной альбом "Претензии Не Принимаются", где отошла от ортодоксально панковского звучания в сторону мелодического пост-панка. В 1995 году Свин записал альбом "С особым цинизмом" под маркой "Оркестр А. В. Панова".

Уход Свина прошел почти незамеченным: он не был, как Цой, кумиром петеушниц или, как Яна Дягилева, - хиппушек и юродивых, а те, кто любили и слушали его, в большинстве живут по принципу: "Жить весело, умереть молодым!" Свину было под сорок, но пожить весело он сумел. И дай Бог каждому испытать и сотворить в жизни хотя бы половину того, что испытал и сотворил Свин, даже за сто двадцать лет.

РОК-ЖИЗНЬ

Фестиваль русского рока в "Пабlike"

10 октября в клубе "Пабlike", что в Крайот, прошел очередной фестиваль русского рока. На фестивале выступило больше десятка групп. Начался марафон часов в семь вечера, а закончился около двух часов ночи - не без помощи полиции.

Сначала скажу обо всех группах, кроме двух. Играть у нас умеет каждый второй - все еврейские дети ходили со скрипочками. Фантазии нету ни у кого. То есть совсем. Такое впечатление, что всю музыку и тексты придумал один человек. И то, и другое пахнет плесенью. Двумя словами: **СОВСЕМ НИКАК**.

Теперь перейдем к более приятной части - к двум группам, которые выделялись. Такова "Модель для сборки". Полное торжество электричества над искусством. Весь звук, кроме голоса, - неживой. То есть группа состоит из шоуменов. Вот вам музыкальный дрифт, а вот мы - красивые, нарядные - под него танцуем. Выделяется "Модель" тем, что от других групп, при всем их убожестве, при всей их жалкой провинциальности, голова не болит. А от "Модели" болит. Очень. И вы знаете, что самое смешное? Многим нравится. Панки даже танцевали пого. Музыка совсем не для пого, но, видимо, это единственный танец, которому они обучены.

Приятный сюрприз я увидел-услышал только один: группу "Закат". Молодые ребята, с фантазией, создающие замечательную тяжелую, но мелодичную музыку. Может быть, на концерте тяжелой музыки в России они и не выделялись бы, но на фестивале "Модель" и "Закат" являлись двумя исключениями. А ведь "Закат" только начал свой творческий путь, но сыгранность, музыка, владение инструментами и голос вокалиста - на уровне. Даже можно сказать - на высоком уровне. Я очень надеюсь, что в следующем номере наши читатели смогут подробнее познакомиться с этой группой.

Два неприятных сюрприза. Во-первых: давно не виденная мною на сцене группа "Хебнер" сильно сдала, а тексты на английском, распеваемые с таким акцентом, что многие так и не поняли, на каком языке "Хебнеры" пели... ну это просто смешно, ребята. Во-вторых, концерт был прерван ментами на выступлении пред-предпоследней группы, причем так и не ясно почему. Фестиваль происходил в промзоне, соседние сабровские наркодискотеки гремели раза в два убойнее, а зрители вели себя для рок-концерта до обидного культурно. Наверное, у ментов просто работа такая - обламывать рокерам кайф, ведь должны же куда-то расходовать наши налоги. Из-за этого облома не выступила заявленная предпоследней лучшая рок-группа в Израиле "Госплан", ради выступления которой фестиваль посетила добрая половина зрителей.

В заключение остается добавить, что фестиваль был организован революционно-хорошо для подобного мероприятия: сцена, звук и свет не оставляли желать ничего лучшего. С этим организаторов можно горячо поздравить. Посещение фестиваля более чем тремястами зрителей, я надеюсь, окупит затраты на его организацию, и он будет не последним. А вот насчет количества групп я бы посоветовал организаторам поступать в дальнейшем согласно мудрому совету дедушки Ленина: "Лучше меньше, да лучше!"



Рис. Евгений Зиль

ГАСТРОЛИ ГРУППЫ "КРЕМАТОРИЙ"

А "Крематорий" до наших краев так и не добрался. Спасибо... угадайте кому?
Нет, неправильно, не ментам! На этот раз - министерству внутренних дел.

63

Новинки звукозаписи

ЧЕРНЫЙ ЛУКИЧ. БУДЕТ ВЕСЕЛО И СТРАШНО

1. Дождь
 2. Вальтер
 3. Мой недуг
 4. Позабуду поговорки
 5. Еду на север
 6. Кончились патроны
 7. В Ленинских горах
 8. Осень
 9. Мы из Кронштадта
 10. Вечная страна
 11. Мы идем в тишине
 12. Будет весело и страшно
 13. Доброе утро
 14. Михаил
 15. Теплый асфальт
- Запись - 1997 ХОР.

Выпущено в свет - 1997 ХОР.

Новосибирский рокер Черный Лукич начинал в середине восьмидесятых вместе с Егором Летовым, пытаясь в подражание ему играть классический панк (альбомы "Эрекция лейтенанта Киреева", "Кончились патроны"). Аранжировки Егора плюс тексты и голос Лукича. Выходило неплохо, хотя лиричность Лукича тянула песни в одну сторону, а насильственное опанковывание их Егором - в противоположную. В конце восьмидесятых пути двух гигантов сибирского рока разошлись - Черный Лукич почти десять лет не выпускал альбомов.

"Будет весело и страшно" содержит как новые песни, так и лучшие из старых, но теперь пронзительную лиричность текстов и голоса Лукича подчеркивает идеально соответствующая им мелодичная нетяжелая музыка, и даже панк-гимны восьмидесятых "Кончились патроны" и "Мы из Кронштадта" звучат скорее ностальгически грустно, нежели агрессивно.

Две песни: "В Ленинских горах" и "Мы идем в тишине" спел в двух своих последних альбомах Егор - если сравнивать два исполнения, то за Егором, безусловно, останется первенство в голосе, про-



фессионализме и энергетичности исполнения, а за Лукичем - в чувстве и философичности. Короче говоря, тем, кто десять лет назад любил Летова, сегодня "Будет весело и страшно" придется по слуху.

КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

1. Вступление
2. Царь на войне
3. Кабздец Царевне
4. Ария Царевны
5. Ария обкуренного богатыря
6. Дорога в облака
7. Ария укуренного Ивана 1
8. Ария Ивана 2
9. Ария Мойдодыра
10. Ария ефрейтора Сруля
11. Хит Булановой
12. Ария Чебуратора



13. Ария Доцента
 14. На конопляной поляне
 15. Посмотри, какие сиси
 16. Ария пиратов
 17. Ария Ивана
 18. Ария нирванирующего Ивана
 19. Ария лорда Вейдера
 20. Ария трехжопого Змея Горыныча
 21. Ария агента 007
 22. Ария Чужого "Утекай, бя!!!"
 23. Ария Алисы
 24. Я убью тебя, сказочник, бя!!!
 25. Реклама концерта
- Запись - 1998 "LSD-Records" и Федя Кизилкин.
 Выпущено в свет - 1998 "LSD-Records" и Федя Кизилкин.

"Спящая красавица" и многочисленные магнитоальбомы свежевзошедшей на панк-небосклоне звезды по имени "Красная плесень" рекомендуются тем, кто любит творчество таких групп, как "Сектор Газа", "Волосатое стекло" и "Хуй забей". Панковость композиций основана не на музыке - музыка, как и у "СГ", большей час-



тью уворована у попсовых групп, а на дебилно-похабно-нескладно-юморных текстах, сочиняемых крымской панк-звездой Павлом Яцыной, его друзьями и поклонниками. При этом уровень владения инструментами - высокий, а голоса, особенно женские, местами до оргиастичности ништячны.

Минздрав предупреждает: если у вас хватит сил прослушать сей панк-триллер два-три раза, то не менее месяца в голове будут крутиться навязчиво-запоминающиеся обрывки песен. Я, например, недавно зашел в автобусе: "Посмотри, какая пися, пися - просто высший класс..." - ну и так далее, чем немало шокировал пару понимающих по-русски старушек.



Рис. Аси Дайн



Татьяна Шеханина

Охота на зайца

1997, смешанная техника, 34.5х34

ГАЛЕРЕЯ



Татьяна Шеханина

Натюрморт

1998, смешанная техника, 24x22.5

ГАЛЕРЕЯ



Татьяна Шеханина
Автопортрет
1998, смешанная техника, 20x26

Татьяна Шеханина
Удостоверение личности
1998, смешанная техника, 6.5x7.5



ГАЛЕРЕЯ



Татьяна Шеханина

Миниатюра

1998, смешанная техника, 6.5x9.5

В начале восьмидесятых взрывная реакция на эти стихи, имитирующие графоманскую стилистику и интонацию, определялась, в частности, предлагаемой ими красивой и всегда выигрышной позицией. Ничего не сказать, просто повторить набор блоков, но в обесмысливающем беспорядке; перечислить общие места, добавив от себя только уничтожающую интонацию. Тут и пародия на представление тоталитарного сознания об авторстве, каковое является категорией весьма сомнительной: то и дело приходится сталкиваться либо с хрестоматийными "дневными" цитатами, не требующими атрибуции, либо с "ночными", анонимными по соображениям подпольной осторожности. (В связи с этим требует особого обсуждения опыт Дмитрия Александровича Пригова, о котором здесь распространяться не буду.)

Тот, кому случалось читать стихи в постели, знает, как удобно кутаться в чужие слова, когда не остается уже других покровов. Это лучший способ спрятать откровение в отстранение: вроде, все сказано, а ты, вроде, и ни при чем. Подкрасишь иронической интонацией - и застрахован от пошлости, вернее, от того, что мы считаем пошлостью: ибо тот, кого растлили тоталитарным человеком, боится быть смешным, то есть вписаться в некий стереотип, то есть согласиться с теми словами, которые сам произносит, без оговорок.

Эта функция центона как средства иронического остранения хорошо заметна у А. Еременко:

*Она в этом кайфа не ловит,
но если страна позовет,
копя на скаку остановит,
в горящую избу войдет!*

*Малярит, латает, стирает,
за плугом идет в борозде,
и северный ветер играет
в косматой ее бороде.*

"Да здравствует старая дева..."

*Бессонница. Гомер ушел на задний план.
Я станцами Дзиан набит до середины.*

<...>

*На 49 станц всего один прокол:
Куда плывете вы, когда бы не Елена?
Куда ни загляни - везде ее подол,
во прахе и крови скользят ее колена.*

"Бессонница. Гомер ушел на задний план..."

*На даче сырость и бардак.
И сладкий запах каросина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.*

<...>

*И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.*

"Переделкино"

Впрочем, Еременко не совсем характерный пример. Есть поэт, чья, выходящая ныне, книга так и называется "Центоны и маргиналии", - Михаил Сухотин. Он относится к центонам вполне сознательно и сам пишет о своих стихах, что в основном их "составляют не цитаты или парафразы, а собственно авторская речь. Аллюзии интересуют меня лишь в той мере, в которой в них



может быть построена поэтическая речь. Она просто опирается на то, "что уже сказано". Сознание же относительности, зыбкости всего "старого" и "нового" в искусстве особенно ясно выражено у Мандельштама:

Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг.

(То, как Мандельштам со своим скальдом, который "чужую песню сложит и как свою ее произнесет", с цитатой, которая "есть цикада", с "тоской по мировой культуре" и т.д. сам напросился на ту совершенно особенную роль неисчерпаемого источника центонов, что отвела ему современная поэзия, - тоже тема для отдельного сообщения.)

"За точку отсчета берется книжность, - продолжает Сухотин. - Устная же речь при этом не девальвируется. Наоборот, она освобождается. У нее появляется возможность: разговор о книгах, т.е. стихи, написанные как разговорные, вольные, своего рода "комментарии" по мотивам определенных книг".

И то же самое - в стихах:

*Уж не всем ли ты хорошим в себе обязан
этим книгам с пожелтевшим страничным мясом,
явля тухнущим под сводами библиотек?
И не все ли фолианты в известном смысле
в неоплаченном долгу перед книгой жизни,
очень нужной и своевременной между прочим?*

Человек в ней - только буква на белом фоне...

"Своевременная книга"

Идеальный центон: "Однажды в студеную зимнюю пору / Сплотила навеки великая Русь. / Пляжу - поднимается медленно в гору / Великий, могучий Советский Союз..." - является как бы схемой некоторых текстов Сухотина. Берется, к примеру, тема: Китай и русская культура, точнее, вращение китайского пласта в русское подсознание с излюбленными сухотинскими фольклорными и хрестоматийными персонажами - и разворачивается, как музыкальная импровизация. Получается стихотворение "Дыр бул щыл по У Чэн-Эню". Поэт поет, как музыканты джазовые, нанизывая блоки многообразные:

*в пещере
Львиного Верблюда
являться муза
стала мне,
на семиствольном
тростнике
она играла песнь
Нефритового Зайца.
Я слушал
и заслушивался,
два китайца
невольные и сладкие текли.*

В тексте под центонным названием "Tristia" Сухотин раскрывает чужие центоны через себя, исследуя важнейшую для тоталитарного человека фигуру подразумевания по пародийно-хрестоматийной формуле:

*Мы говорим одну сонату вечную
подразумеваем одну молитву чудную*

*Мы говорим кремнистый путь из старой песни
подразумеваем выхожу один я на дорогу...*

Фигура подразумевания. Фигура самооправдания (ср. "Суд идет!" в стихотворении "Друг мой милый") через чужое, ставшее своим. Текст, рассчитанный на себя или на читателя с аналогичной подготовкой, - иначе все это не работает или работает совершенно иначе, - рассчитанный на улыбку понимания. Тут важна еще и осознаваемая автором традиция еврейской премудрости:

"Евреи, например, учат, что каждый человек - буква в книге жизни, и он должен вписать хотя бы одну букву в Тору <...>. Еврейская книжность вообще вся маргинальна - <...> все комментарии, комментарии к комментариям и т.д. - рамка в рамке". (Здесь, как и выше, цитирую авторское послесловие к книге "Центоны и маргиналии".)

Живая иллюстрация этого положения - "Роза Яакова", с примечаниями (опубл. в № 8 журнала "Новое литературное обозрение"). Поэзия примечания - казалось бы, уже почти молчание, максимальное остранение - почти самоустранение. Поэзия, подразумевающая примечания чуть ли не к каждому слову, почти пародийное утрирование идеи языка, смыслов языка. И при этом оказывается - едва ли не самый "горячий" и слезный сухотинский текст. Потому что бьется, бегаёт сознание внутри себя и все время натывается на чужие слова.

А ничего не попишешь.

Авангард начала века твердил о "голом" слове, "голом" глазе как будущем поэзии.

Нынче такой подход выглядит анахронизмом. Это бесспорно и требует отдельного обсуждения, в которое сейчас пускаться не стану. После неудачной попытки совокупления с голой реальностью слово стало стыдливым, оно убежало к родителям и кутается в сто одежек, все без застежек.

И беззвучное, закутанное слово в энный раз произнесем.

В процессе подготовки к настоящему сообщению я побеседовала по телефону с Михаилом Сухотиным, и он рассказал мне о своем стихотворении, которого я не знала. Стихотворение называется "Парфюмерия": берется окончание фетовского "Шепот, робкое дыханье..." и закавычивается подряд:

*В "Дымных Тучках" "Пурпур Розы",
"Отблеск Янтаря",
и "Лобзания и Слезы",
и "Заря", "Заря"!*

В связи с этим Сухотин напомнил мне из Рубинштейна: "Мне приснилось выражение: "закавыченная муза". Рубинштейн "закавычивает" (не буквально, а контекстом) фрагменты собственной лирики. Кстати, всегда хотелось спросить у него: насколько давно написанной? Или по-разному? Тем самым он показывает не столько даже свою иронию по отношению к своей лирике, сколько вообще иронию текста, в широком смысле, по отношению к любой "лирике". Слово "лирика" тут в кавычках. С другой стороны, именно центон, как оказывается, обладает особой лирической силой, и к нему поэт обращается, ускользая от почти невыносимого пафоса.

*О Господи, води меня в кино,
корми меня малиновым вареньем.
Все наши мысли сказаны давно,
и все, что будет, - будет повтореньем.*



*Как говорил, мешая домино,
один поэт, забытый поколеньем,
мы рушимся по правилам деленья,
так вырви мой язык - мне все равно.*

Александр Еременко

Говоря об огромной лирической мощи центона, необходимо вспомнить, конечно, Тимура Кибирова. Вот уже где из ухмылки тоталитарного человека с замусоренными мозгами, ни словечка в простоте, проблема соотношения "своего" и "чужого" нечувствительно перерастает в биение себя в грудь: "я не чужой, я свой!" Составляющие те же: обломки советской мифологии с ползущим Мересьевым, целинными девчатами и прочим, клочки "серебряного века" да сортирные надписи.

*И так тихо, так тихо в полночном лесу,
лишь не спит злополучный барсук.
Все грызет и грызет он мучительный сук.
Мне ему помогать недосуг.*

↔

*Не гляди же с тоской на дорогу, дружок!
Зря зовет тепловозный гудок.
Там плацкартные плачут, да пьют, да поют,
а СВ все молчат да жуют.*

↔

*На передних конечностях, видишь, вперед
человек настоящий ползет.
И мучительно больно не будет ему.
Почему, объясни, почему?*

"Лесная школа"

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши поэты? Когда б вы знали, из какого сора...

*...по-над Летой, Лорелейей,
и онегинской строфой,*

*и малиновою сливой,
розой черною в Аи,
и Фелицей горделивой,
толстой Катькою в крови,
И Каштанкою смешною,
Протазановой вдовой,
черной шалью роковой
и процентщицей седой,*

*и набоковской ванессой,
мандельштамовской осой,
и висящей поэтессой
над Елабугой бухой!*

И какая уж там манипуляция "культурными кодами" - тут отчаянное перебирание паролей, волшебных слов, детдомовская апелляция к общей памяти:

Это все мое, родное,
Это все хуе-мое!
То разгулье удалое,
то колючее жнивье,

то березка, то рябина,
то река, а то ЦК,
то эска, то хер с полтиной,
то сердечная тоска!

"Л. С. Рубинштейну". Из книги "Три послания"

Не самые ли это проникновенные строки о родине, созданные нашим современником?

Бог есть! Бог есть! Дышать? - Дышать.
(Так заканчиваются длиннейшие сухотинские "Страницы на всякий случай")

Поэзия - ворованный воздух.
Дыша поэзии ворованным воздухом,
С чужого креста ворованным гвоздиком
Протыкаешь собственную ладонь

Цитата есть цикада
Только не надо
цыкать зубом
Ведь каждое слово - цитата
из языка

Эзопов язык души.
Души прекрасные порывы.
Мозгов ужасные нарывы.
Неотличимы коннотат и денотат.
Поток сознания - поток цитат
У тех, кто с детства с книгой дружен,
И пил ее и ел на ужин.

Нет, весь я не умру.
Дыхание вещей
Услужливо подсовывает строчки.
Мы родились в сорочке
из бумаги
нам книжки были вместо жизни.
А ну-ка, солнце, ярче брызни,
а ну-ка, дрызнь!
Ни одно слово не лучше другого,
все слова должны быть обязательны,
и все слова паук, беседка, человек
одни и те же.



НОВЫЕ ВОРОТА

Станислав и Мирон
Опыты рассредоточения
1995-96



№ 7/8



№ 3/11

НОВЫЕ ВОРОТА



№ 7/5



№ 7/9

НОВЫЕ ВОРОТА



№ 6/2

НОВЫЕ ВОРОТА

Александр Зелинский

жертвенник. (дизайн)



НОВЫЕ ВОРОТА

Здравень



Наполнения

ИЛ/УРАШУРА 92



Г. Д.
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. НАБРОСКИ

Что в имени задорном Гробман?
Не гроб поваленный он - вопль
Провоппленный!

*Гаухар
Дюсембаева*

Он - крик петуший:
"Имеющий
да срежет уши!"

С врагом поваленным сражайся,
Готовь ему победы гроб.
За Савла - Павла, труп - за троп,
Погром победы раздавайся!

Грабь загробное!
Гробь награбленное!
Так в битве веселится храбрый.



МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

ЦАРЬ

Михаил ГЕНДЕЛЕВ. Царь.
Иерусалим: Альфабет 1997.

Странник, фронтовик, левантиец, лирический герой Генделева поневоле соотносен с фигурой Одиссея. Впрочем, эта соотношенность основана не только на сюжетно-биографических параллелях, но также и на глубинном, субстанциальном тождестве. Генделевская поэзия абсолютно эгоцентрична и тем способна довести читателя до самозабвения. В ней, как кажется, отсутствует понятие *другого*, который *не-я*, если он только не двойник. Жена-возлюбленная, или просто

анонимная дама (благодаря слушательница), или демонический генерал - лишь объекты воспоминания, продукты воображения, либо внешние раздражители, как это и пристало божествам, - но не субъекты, альтернативные лирическому "я". Обожествленные (т.е. обезчеловеченные), они состоят из того же вещества, что и кочующий генделевский образ - мотылек, повсюду сопутствующий герою (как мог бы собственный его, героя, запах), и, подобно мотыльку, мифологизированы, приравнены к природному феномену, таким, как луна, дождь, огонь. Эту безальтернативность, эту выключенность человека-субъекта из бесчеловечного (объективного) универсума я и зову здесь поэтическим эгоцентризмом. Генделевский герой-индивидуалист восходит к образу Гомерова скитальца. Поэт рассказывает историю некоего господина примерно своих лет - и это всегда она, история Одиссея.

В "Царе" Генделев напрямую обратился к греческому мифу, целиком посвятив книгу его репрезентации (и единством сюжета подерживая принципиальную для него целостность книги). В своем выборе он был тем более последователен в свете многолетней - и уникальной для его поколения - работы над мифологией войны, т.е., упрощенно говоря, над своей, представленной в личном фокусе, "Илиадой". Недаром уже в военном цикле "Стансы Бейрутского порта" из книги 1984 года возникает мотив Одиссея: "Еще я вспомню этот порт / где над заливом запах серы / где сладко жмурится сефард / на остов итакской галеры // ей рак морской отъел корму / нос губы щеки и команду / сефард - купец вольно ему / злорадствовать негодянту <...>". Там же мы находим внутренний монолог лирического героя, отождествившегося с Одиссеем: "<...> сирены голоса как льды / высоко над собой держали // как дети слепо - девки зря / я топ и думал обреченно: что Ориону тропаря / и что ему до Ариона // но - голоса сирен низки / но - фальшь слышна при каждой вторе <...>".

В XX веке фигура Одиссея была, пожалуй, популярнее, чем когда-либо. Между тем почти во всех случаях, когда миф трансформировался в пределах узнаваемости, как стихотворные, так и прозаические его интерпретации превращали Одиссея в совершенно предсказуемую, программную модель. Он представлял таким тусклым, чадным светочем пацифизма, человеком потерянного поколения, из тех, о ком говорят: "Солдат - крестьянин порченный". А поскольку фабулу всякого мифа составляет некоторое деяние, осуществляемое героем, то на этот облик накладывалось такое качество мифологического героя, как знание наперед своей судьбы (как минимум, на уровне морфологии: местоимение плюс глагол), что делало его еще скучнее. У Генделева Одиссей получился не трафаретной фигуркой, носимой взад-вперед по волнам риторики, а живым человеком (ибо не знаящим: ему ли доводить историю до конца, или другой господин его возраста примет у него незримую эстафету - и тогда другой пес завилает хвостом, другая жена дожидется мужних ласк, другие женихи будут истреблены, сохранятся одни глаголы). Он вышел, повторяю, живым человеком, современным, избавленным от ложного пафоса, что строится на дешевом контрасте грубого и возвышенного. И генделевский Одиссей тем убедительней, чем смелее поэт проецирует обстоятельства мифа на собственное эмоциональное поле, на укорененный в персональном опыте и воспетый в предыдущих книгах материал:

Мы
мы или не мы
соем товарищи брали город <...>.

"Товарищи мы воду роим а мы брали город
товарищи вы помните брали город
а брали раз-два как таз-бадюю с бельем и бабьем а арабьем

товарищи
мы помнится брали город
Одиссей он привязан а мы гребем“.

И ниже:

<...> сирена
она собой исполняет себя и свое
как пламя книгу читает разом

но
воет она и поет
сирена воет она и поет

не зная что воет она и поет
а
царь привязан

*“Одиссей Привязанный.
Элегия хирургии госпиталя “Шаарей Цедек”*

Понимая, что Гомер обязывает к аллюзивным цепочкам, что вторжение чужого текста в собственный неотвратимо, Генделев предпочитает адаптировать то, что поставляет ему ивритская традиция. Так, большой цикл “Памяти броненосца” заключает стихотворение “Самоволка” - авторизованный, но корректный перевод из Хаима Гури. Здесь в особенности пленяет свежерасцветившая (поскольку - перевод) семантическая спайка *лес - слезы*, до неприличия затасканная русской музы: “<...> одно за другим в домах загорались окна / все! загорелись / и / враз / стемнело. // Пришла роса / и запуталась в его космах / будто / упала роса / ночная / глаза заклея / ветер / едва не лая / как пес / поцеловал его в губы / пришла вода / как старая Эвриклея”.

Генделевские реминисценции, его манера обращения со штампами вообще чрезвычайно интересны. Интересны в первую очередь своей серьезностью, отсутствием извиняющегося жеста - благодаря чему, думается, составляют неучтенную альтернативу и методам московских концептуалистов, и техникам мастеров цента: “Ничто / не успокаивает так как вид волнения снаружи / и / что / в любви и смерти объясняться с вами нужно / как плыть в пальто // сласти (три точки) наши (три тире три точки) ваши души / стоит / на / кой / (три точки знак вопроса запятая) / но // говно / оно / конечно / тоже тонет / но / как говно” (“Пятнадцать негритят”).

То, что Генделев практически без иронии пользуется штампом, объясняется, на мой взгляд, ощущением, что все обратно в штамп. А если так, то надо устранить самый объект обесценивания, оставив пустое пространство из-под него или молча указав его местонахождение, т.е. надо, чтоб “язык / отсутствовал / на / месте языка”, поскольку “настоящий свет в ночи / это тьма”, а “смерть / это такой сон / <...> что снится себе сам”. Поэтому Генделев, в лучших модернистских традициях, неузнаваемо преобразует то, что мы привыкли стыдливо не замечать. Но как вернуть слову-пустышке его референтную весомость? Генделев прибегает к разным техникам. Среди них - техника тавтологически-заклинательная, открывающая перед читателем перспективу мистического самоотказа ради магнетической пульсации текста. Прием тавтологии - один из основных для книги “Праздник” (1993): “лицо / соленое пловца // в стекло зеленое / зарю / до тыльной / стороны лица”; “сидел / после купанья / в кофе / у берега воды // смотрел / не / оставляют когти / когтей следы” (“Новый Арион, или Записки натуралиста”); “Был дом / где / с одною марией / я жил / и поздно вставал / а ежели моросило / вообще не вставал / огромен дом был / через перила / лестниц и галерей / когда возникла нужда в марии / “Мария!” / кричал я ей” (“Бильярд в Яффо”). Такое же тяготение к тавтологической структуре прослеживается и в “Царе” (см. “Свидание в Коринфе: “Одиссей Привязанный” и др.). В связи с едва ли не беспрецедентной работой Генделева по переплавке банальностей в пронзительно аутентичную лирику без намека на стилизацию, нельзя не упомянуть восхитительный цикл романсов из книги “В садах Аллаха”, увидевшей свет одновременно с “Царем”. Генделев вообще очень привязан к жанру романса. Романсы есть и в “Празднике”, и в “Царе”. Этот жанр обеспечивает генделевской поэзии чуть-чуть манерный и несколько вульгарный акустический рикошет, грубоватую, соблазняющую-отталкивающую интимность, которые, в частности, и дают эффект *правды поэзии*. В основном отсюда у Генделева и сложная, прихотливая строфика - перед нами романсы или то, что могло ими быть, т.е. стихи, записанные в виде инструкции для исполнителя, стихи, что просятся на музыку, да не ложатся.

Как и положено книге, имитирующей морское путешествие, "Царь" дарит нас заплывами на длинные лирические дистанции. Для чтеца-декламатора это чревато вестибулярными и дыхательными перегрузками. Здесь сильнее всего ощутима энергия, полученная от Цветаевой. Отвесная стремительность больших стихотворных периодов (результат откровенной подмены эпоса лирикой) вызывает в памяти цветаевские драмы на античные сюжеты. В стихотворении "Кассандра. Реконструкция" чувствуется влияние и "Молодца" и мандельштамовского "Как этих покрывал и этого убора...", а при чтении строк: "а / и / что // а / и / рот мой / да // внутри / как / надо // пустой / и / черный" ("Одиссей Привязанный") - отголоски цветаевских "Переулочков".

Стихи Генделева трудны для комментирования. Прием, как правило, не обнажен, а если и так, то, уж верно, в целях драпировки другого приема, поглубже. Для понимания того, как сделано стихотворение, часто приходится вдаваться в такие мелочи, учет которых пристал скорее филологу, нежели критику. К примеру, в "Царе" Генделев, то и дело члена слово стихоразделом, опускает знак переноса. Но вместо того, чтобы разъять слово, прием ведет к обратному эффекту, который в конечном итоге распространяется на поэтику книги в целом. Весь текст начинает казаться каким-то слипшимся, вязким, подобно тому "золотому меду", которого "струя из бутылки стекла" и о котором сказано в заключительных строках "Царя": "<...> и / и дюю пузыри / заключены в которые / мы как живые мы / забыл в каком году // плывем в меду / закрыв глаза покорные / на тьмы на все четыре света стороны / как дети голые / в меду" Чтение вслух такого текста напоминает разминание языком слюнооточивых волокон, приторных до щекотки, - сопротивление материала становится осязаемым. Поэт разыгрывает ритуальную схватку с неизбежностью раскладывания истории, уподобляется герою-мореходу, двадцать лет втайне от самого себя распускаяшему пряжу сотканых расстояний. Похожий эффект достигается перетасованным в полушарлатанское-полу-пророческое косноязычие синтаксисом, норвежщим поспеть за вертикальным змеением текста на месте. Текста, чей вечно ускользающий смысл пригвожден молниеносными, непредсказуемыми стихоразделами. Никакая не "бабочка". Хтоническая тварь, завороченная возвратной магией гаммельн-ской дудки. Прежде, за отдельными исключениями, стих Генделева был не столь стремителен, поэт более дисциплинированно, по-военному чеканил строку, его тексты сущностно тяготели к твердым телам предметного мира, претендуя на статус сверхчеловеческих артефактов. В этом смысле первое стихотворение "Царя", эпиграфически ему предпосланное (и створчано его открывающее по симметрии с последним стихотворением: рассвет - закат), жестко противопоставлено остальной книге:

<...> а
что
как мотылек оно бессмертье это
смотри

зари симметрию зари
заката и рассвета
и
тьму внутри.

Несмотря на обилие в книге аллюзий на культовые участки русской поэтической традиции, Генделев исподволь отстает свою принадлежность к иной культуре, иной географии. В частности, слово "русский" появляется только с отрицанием: *нерусского, не по-русски* (вспоминается Мандельштам). Или: "Господь наш не знает по-русски / и русских не помнит имен" ("В садах Аллаха"). Русское чаще всего связано у Генделева с заповедной зоной интимного в потерянном раю: "а это кто там у нас ее рубашонка короткая / а это кто там у нас русская / голая / а это дура-любовь перед воротами / только их восемь ворот / дата и колокол" ("В садах Аллаха").

Наставая на том, что он израильский поэт, Генделев избрал исключительно достойную в ее маргинальности позицию. Если для уроженца локальной культуры, особенно с молодой традицией, велико искушение дешевой ценой попасть в национальные классики, в сельские божества, вместо того чтобы штурмовать одну из чужих великих литератур или, что не менее трудно, все их вместе, оставаясь патриотом, то выбор Генделева вполне бескорыстен: он выбрал ситуацию маргинала как по отношению к малой литературе, с которой (и практически в открытые от языка которой) отождествляет свое творчество, так и по отношению к великой литературе русской, от которой отрекся (и для самореализации внутри которой поэту его масштаба такая экзотика - израильский поэт, пишущий по-русски, - совершенно ни к чему).

Впрочем, запатентованная Генделевым концепция израильской литературы на русском языке неожиданно находит дополнительное обоснование в его творчестве, не существующем, как известно, отдельно от

личности и биографии поэта. В отличие от абсолютного большинства нынешних стихотворцев, разбросанных по архипелагу русского языка, Генделев *не больше чем поэт*. Но и не меньше. Это значит - он поэт, и довольно с него. Пригов, Кибиров - и больше, и меньше чем поэты. Больше - потому что заквашивают свою продукцию на российской концепции поэта, который обязательно больше чем поэт. А если так, то поэтом он может и не быть. И даже лучше ему поэтом не быть. Ведь если он больше чем поэт, не миновать ему рано или поздно культа личности и подкатившей на волне эпигонства толпы фанатиков-девальваторов. А они для поэзии как таковой страшнее, чем суицид. Так, например, экологическая катастрофа постигла на нашей памяти мир, сотворенный Бродским. И никто не возьмется сказать, сколько времени потребуется его стихам на восстановление своей магии.

Этот пример тем актуальнее в отношении Генделева, что лирический герой последнего во многом воспроизводит лирического героя Бродского: тот же чеканный профиль с оттенком романтической самиронии (даром, что со 2-й страницы "Царя" матерый автор анфас вывернулся на читателя). Но для Генделева этот независимый ракурс - простая дань традиции, он риторически рудиментарен, не оплачен безымянным сиротством многотысячных учеников-обожателей. Для творчества обоих поэтов (и Генделев это дополнительно обнаружил в "Царе") очень важен мотив путешествия. Он восходит к байроновским "Чайльд-Гарольду" и "Дон-Жуану". Однако у Бродского, равно как и у Байрона, это путешествие не есть путь в утопическую страну и не есть возвращение домой. Оно не предполагает ни начала, ни конца. Для путешествия на таких условиях генделевский герой слишком сентиментален, и поэт выпадает из парадигмы современного Байрона а-ля Бродский. Не случайно в стихотворении "По направлению к Миссолунги" Генделев, развивая старую лермонтовскую антитезу, крутыми стезями приходит к самовключению в современную мифему типа: *нет, я не Бродский, я другой*.

Кто же он, этот другой? Насколько мне удалось приблизиться к истине о нем? Впрочем, тревожиться мне особенно нечего. В лучших своих главах (а их немало) "Царь" выше критики. То, что будет написано об этой книге, я полагаю, во много раз превысит ее объем. Автор же ее обретет интерпретаторов более тонких и внимательных. А пока дерзаю обратиться к поэту-стихоборцу в духе ободрения *капитан, капитан, улыbnитесь*, воспользовавшись его же словами:

Пловец
не дорожи любовью народной
ты царь
пльви
хоть по-собачьи
но один <...>

а коли не всплывают вровень
щека к щеке
язык и речь
тому подряд причин
ирония коррозия
винта Харибда Сцилла течь.



Александр ЛЮБИНСКИЙ
Фабула: Избранное.
Иерусалим: ПИРА, 1997.
311 с.

В аннотации, предпосланной этой книге, сказано

что в нее входят "роман и три повести, написанные в России... рассказы, эссе и статьи, созданные в Израиле (1994-97). Роман и повести А.Л.

Мих. Бар-Малеи

ТРИ РЕЦЕНЗИИ

Из дробовика понятий

относятся к немногим, созданным "семидесятниками" в годы застоя произведениям, где дается глубокая, цензурированная оценка времени и поколения. Рассказы, эссе и критические статьи, созданные в Израиле, представляют сплав поэтической силы русского языка с идеями и ситуациями, рожденными на земле Израиля". Судя по возвышенному и настойчивому стилю, аннотация принадлежит самому автору. По когтям узнаешь льва.

Российские произведения, не пропущенные за их глубину советской властью, объединены под свежим названием "Тени вечерние". (Совсем недавно, всего 130 лет назад, Петр Боборыкин назвал свой роман "Жертва вечерняя".) Все эти его повести-романы написаны так: "Мы протолкались к эстраде. Она начала подпрыгивать в такт музыке, выбрасывая ноги вперед и поворачиваясь ко мне то одним, то другим плечом... Я обнял ее. Она пахла духами, вином и потом... Шелк платья скользнул у меня под руками. (А ведь не хуже, чем у Боборыкина, а? - М. Б.-М.) Она отскочила. - Но-но! Рехнулся, парень, - и повела назад", и т.д.

Я не решаюсь дать этому стилю надлежащую - глубокую, хотя и не слишком цензурированную - оценку. Таковую прозу могла бы сочинять ожившая пишущая машинка: "Сами того не зная, школьники вносили решающий вклад в выполнение плана посещающего музея". Даже не компьютер, тот не напишет: "Милый мой, не строй из себя принципиальность".

Этот сиротский стилистический ландшафт оживляют только нечаянные курьезы, которые пробогают по серому пространству текста, как крысы по бетонному пустырю:

"- Ты ведь частичкой участвуешь в потоке, частичкой, вымываемой из тебя".

А вот, пожалуй, мое любимое место:

"Проскальзывая под одеяло, шепчет, обнимая за шею:

- Я спасу тебя! Или ты растратишь свои замечательные мозги по мелочам!.. Тебе приятно трогать меня, правда? Вот здесь и вот здесь... И целовать? Поцелуй меня, доверься мне!"

Но замечательные мозги мешают герою сосредоточиться, и на простую женскую просьбу: "Вот здесь и здесь" - он отвечает, как истинный философ:

"- Погоди... Я не знаю, что я буду делать здесь, но еще меньше я представляю, что мне делать там..."

По контрасту, израильская эссеистика г. Любинского (названная "На перекрестии дорог"!) может показаться образчиком цветущей сложности, тоже поданной в маковой россыпи многоочий. Тут и грубая проза жизни: "Под зданием Машбира лежала вобла", тут и лингвистические наития: "Русский язык лишен внутренней структуры, или, вернее, он таков, что подстраивается под любую навязываемую извне форму"; много пронципальных психологических наблюдений: "Лихорадка деятельности дает забвение мужчинам, искусство - опьяняет жен..." Еще величественней картины природы: "А когда солнце опустится в пучину вод, и меч молодого месяца качнется в луче звезды над старым маяком, задер-

нет узорный полог, раскроет объятия долгая душная ночь". И так везде, все тем же душистым слогом старухи Изергиль.

Правда, старушечий слог часто подводит, и тогда, рассуждая о высоком, автор спотыкается в метафорах:

"Я не люблю этот век... Он превратил блуждания по таинственному лесу языка в его планомерный захват пучеглазыми лесниками, вооруженными дробовиками-понятиями для отстрела певчих птиц".

Жалко эту явно автобиографическую птичку. Сразившие ее пучеглазые лесники - это бездушные зрудиты вроде Борхеса, которые вместо различий видят везде тождества, аналогии. Ненавистны Любинскому профессиональные интеллектуалы, "отправляющие различия в газовую печь современной науки истории", в том числе Ю. Лотман, и, как он пишет, - почему-то всегда с двумя "с" - "тартусская" школа, нивелирующая все уникальное, единичное, погребаящая его "под завалами громоздких структур и текстов". Все-таки восхитительна эта "газовая печь науки", эта бетховенская глухота к слову, "громоздкие завалы" смысла - сплошной "сплав силы с ситуациями". Впрочем, тут есть и некая традиция. Можно добавить, что сентиментальный иррационализм всегда был и остается защитным цветом скудоумия.

Что же касается психологической стороны дела, то тексты Любинского слишком беззащитны для психоанализа и потому вряд ли заинтересуют даже начинающего фрейдиста: "упругие белые колонны", "фаллосы минаретов" и фиговые деревья расставлены у него в роскошном изобилии, как у Риты Бальминой.

Когда его герои отлекаются от философских раздумий, ими овладевают могучие, хоть и скоротечные страсти:

"Ионатан глядел на ее розовую плоть... Он восстал, и снова рухнул вниз. Он закричал - поник..." Героя влечет "что-то розовое между ног, все в мягких складочках". Понятно что: "По матери всех матерей, по божественной утробе тосковал он". Однако на каждом шагу его подстерегают и неконвенциональные соблазны:

"В узорной тени фигового дерева сидит полный, ослышав от жары, бросает призывные взгляды... О, друг, я не твой!" Едва от этого ушел, тут же появляется новый - нескромный, гадкий обольститель: "А этот господин в цветной рубашке, едва сходящейся на толстом животе, как он посмотрел на тебя... Воистину, весь день тебе придется соскабливать с себя жир его взгляда". Знаете ли, на Востоке...

В итоге, героически поборав любые искушения, Любинский-критик сублимирует свои порывы в

здоровую литературную ненависть к сколь-нибудь удачливым авторам. Его сварливая муза кидается на все, что движется, как деревенская собака на автомобиле. Как-то, разделяваясь со стилем воображаемых конкурентов, он заявил в одной газетной заметке: "Я не собираюсь сосать слова-пустышки".

Ах, г. Любинский, сосите все что угодно, но не присасывайтесь к литературе. Ну зачем вы с такой злобой напали, к примеру, на талантливую Дину Рубину - это вы-то, с вашим удивительным "сплавом" и "замечательными мизгами"! И не надо было обвинять писательницу в том, будто ее "обманула жизнь" и теперь она мстит ей за это. Все это не по адресу. Разве можно так подставляться? Зависть - плохой советчик.

На прощанье - несколько уточнений и предостережений. Читателям Любинского, если такие имеются, будет небесполезно узнать, что Сведенборг пишется с буквой "н", а Бернард Клервоский с одним "с", что непонятный "Иоахим Аббас" в переводе рассказа "Джакомо Джойс" - это знаменитый Иоахим Флорский; "Яан Петерс Свиллинк", который у Любинского назван датским музыкантом, - это известный голландец, Ян Питер Свеллинк. Dutch не значит датский, увя!

Я готов привести великое множество других примеров богатой эрудиции г. Любинского, путающего, в частности, "венский" и "венецианский", но, к сожалению, в нашем журнале всего какая-то сотня страниц. Если он обратится с соответствующей просьбой в редакцию, мы будем рады предоставить ему куда более подробный список. Адрес - в конце журнала.

Эпигоны библейского козла



Ави ДАН. *Fin de Siecle*. Иерусалимский издательский центр, 1997. 123 с.

В этой поэтической книжке много загадочного, начиная с французского названия. Выполнено оно почему-то немецко-готическим шрифтом, но, мне

кажется, такое новшество еще не дает автору права писать *siecle* с большой буквы и без *accent grave*.

Мне бы не хотелось отбивать хлеб у Игоря Бяльского, снабдившего стихи столь же таинственным предисловием, и я приведу его почти полностью:

"Приобщившись (это не опечатка, как и все последующее - М.Б.-М.) на краю советской власти и на ее исходе к литпроцессу, довольно быстро (? - М.Б.-М.) начал я вести так называемые литобъединения, каковой крест (и маген-давид тоже) продолжал нести и в Ерушалаиме. Так вот, среди прочих дел, за которые не стыдно будет отчитываться перед Господом, а даже наоборот (т.е. Господу будет стыдно перед Бьяльским? - М.Б.-М.) - отдельные итоги "борьбы с молодыми авторами... Речь идет о людях, у которых я и сам с удовольствием научился писать стихи, если бы это было возможно".

Стыдно сознаться, но я не совсем уяснил себе, что это значит. То ли, что обучить писанию стихов вообще невозможно? Чем же тогда занимаются в лито? То ли, что высочайший уровень студийцев попросту недостижим для их наставника? Читаю дальше, так оно и есть - победителю-ученику от побежденного учителя:

"Один из этих, уточню, весьма немногочисленных настоящих поэтов, Ави Дан... Ави Дан - поэт нового поколения. Новое не только в смысле изменившегося времени, но и преобразившегося пространства, сегодня скорее связывающего, чем разделяющего Россию и Израиль. Связывающего благодаря в том числе и поэту. Это он гармонизирует мир, заново объединяя меняющиеся и умножающиеся сущности и символы в одно целое, отвыкшая у дремлющего хаоса новые духовные плацдармы и территории для всех нас. <—> Мне остается пожелать Ави Дану освоить это пространство и время не только до самой сути, но и до самых незначущих на первый взгляд деталей, которые под рукой мастера и определяют эту самую суть на века. Уверен, что ему это удастся. Не сомневаюсь, что благодарного читателя поэт найдет в обеих своих родинах, по-настоящему великих и по-настоящему любимых".

От души завидую неведомым мне счастливицам, которые поняли эту сиюту в прозе. К сожалению, я не вхожу в их число. А фраза насчет "благодарного читателя в обеих родинах" пробуждает у меня только побочные ассоциации - не то про ласковое тело, не то что-то школьное из Маяковского:

"И вижу: сидят люди половины / О дьявольщина! Где же половина другая?"

Поделюсь зато некоторыми эмоциями. Радостно знать, что, умножая сущности (наперекор завету Оккама), Ави Дан уже успел-таки дойти "до самой сути", и теперь ему как мастеру остается только добраться до "самых незначущих деталей", чтоб уж раз и навсегда "определить эту самую суть на века". По-моему, для такого таланта это плевое дело. Правда, как всякий

истинный гений, он привык к непониманию, с которым сталкивался еще в России.

*Где, обнаруживая спину
В виду потерянных племен,
Я слыл примерным славянином
На протяжении времен.*

<...>

*И вижу старую картину
Непонимания кругом,
И лезу в старую штанину
Ходить по улицам пешком.*

Хочется цитировать еще и еще, перечисляя все новые духовные плацдармы, завоеванные для нас Ави Даном, вопреки застарелому непониманию:

*Не собирая пыль с кулис
Проходит тварь по волнорезу,
А спины скатывая вниз
Как дождь по ржавому железу,
Конец найдет...*

Здесь прекрасно все - от чарующей латышской акустики (пыльскулис) до интригующего "конца", благополучно найденного тварью на волнорезе.

Есть и прелестные философские позы, к примеру "Идол":

*Я пробираюсь вдоль лощины
И обнаружил у ручья
Среди болотины и тины
Остатки копии тебя.*

Согласитесь, такие остатки ведь далеко не каждый обнаружит, даже пробираясь вдоль "болотины". И по-человечески жаль, что еще не все воспитанники г. Бяльского достигли такого этпченногo, виртуозного мастерства. Не надо только бояться наступательных порывов Ави Дана, который ради нас сражается с хаосом. "Это он гармонизирует мир", - успокаивает нас Бяльский. Что ж, враждебный хаос тоже не дремлет - и рождает диссонансы в душе поэта, сказавшего о себе:

"Я гений стриптиза под хохот волынки".

Именно хаос подловоат сдвигает ударение, придавая стихам Ави Дана коварную экзотичность, так что они звучат переводом с какого-то иноземного подлинника - с белорусского, что ли: "А я тащился вслед за ним / Мешая тцтцу с Первомаем"; "Завсегдатай вещей снов / Глашатай из-под забора"; "Мой мальчик, жив ты и поньне / Увенчан лаврами. Бог весть, / Сколько рождается такими? / Ты думал, бога нет? Бог есть".

Порой становится страшно за Поэта, наделенного такой умственной мощью, и за его подруг, затеявших сложный маневр против нечистой силы:

*Всю жизнь за дьяволом охотясь,
Ты в муках дьявола рожала,
И бесовски собой заботясь,
Ты перед ним, как пласт, лежала.*

Чувствуешь с сострадаемием, как автор изнемогает в этой титанической битве, и хочет хаос замирить, успокоить, взывая к своему библейскому предшественнику:

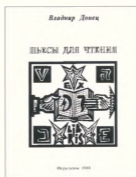
*Вот уеду в Рязань, тихий домик куплю;
Я совсем не опасен.*

*И к тому же не вижу особого зла,
Что библейского хуже любили козла,
Чем его эпигона.*

Честно говоря, я тоже не вижу особого зла в том, что эпигона любят лучше, чем рогатую скотину. Главное, не сдаваться в борьбе за гармонию. И тогда оба эпигона библейского козла - и Ави Дан, и его чуткий наставник отвоюют у хаоса последние духовные плацдармы. На радость всем нам.

P.S. На обороте книги напечатано: "После прочтения покурить!" Вероятно, шутка, но автор этого не уточняет. Не сомневаюсь, что его наказ сбудется, если в моду снова войдут самокрутки. Но лучше - все-таки перед прочтением.

Неоткрытые прелести, или Наш ответ Вольтеру



Владимир ДОНЕЦ.
Пьесы для чтения.
Иерусалим: ЛИРА,
1998.

Забыл добавить, что в книге 254 страницы - но, каюсь, я одолел куда меньше. Книга Донца - это окосцественные вариации на разные древние темы,

под Евр. Шварца с его "Тенью" и т.п. Открывается она "Новым Кандидом", затем идет что-то про горьковского Данко ("Дорога сердца"), потом - "Былина на современный лад", с бабой-ягой и богатырями, а дальше я уж совсем ничего не осилил. Все произошло, как у К. Г. Юнга с "Улиссом" (см. эссе Д. Дейча в нашем журнале). Еще раз каюсь. Как там у классика? "Проклятая дремота все туманила перед ним; руки его оскотенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый" (Гоголь, "Пропавшая грамота"). Но до этого я все же успел совладать с "Новым Кандидом", чем вполне гордился. Еще в 1960-е годы такая смелая, либеральная пьеса была бы интеллектуальным

украшением Урюпинска. Здесь почти все, как у Вольтера, но куда современнее, начиная со списка действующих лиц, к которым добавлен у Донца сам Вольтер и какой-то глубоко символический, постоянно сжигаемый на костре Еврей. Правда, визуально все это непросто себе представить, поскольку автор еще не до конца разобрался с трудными реалиями ихнего XVIII века. Читаешь, например: *"Из-за боковой кулисы появляются молодой человек в камзоле (Кандид - М. Б.-М.) и господин в парике с бублями"*, т.е. Вольтер. Вероятно, камзол и парик находятся у автора в отношениях дополнительности - либо то, либо другое, но уж никак не камзол с париком вместе. Есть и сюжетные новшества, захватывающие, но не всегда удачные. Донец, в частности, заставляет Молодого барона страстно ревновать Пакету к Кандиду. И совершенно напрасно. По своей советской невинности автор не заметил, что Молодой барон у Вольтера - гомосексуалист, не испытывающий ни малейшего влечения к женщинам. Стоило бы также хоть немного освоиться с философской проблематикой повести. Ну, честное слово, совсем не мог Панглос так завершить оборванную в подлиннике фразу: *"Необходимо, чтобы мы были свободны, так как обусловленная причинностью воля... ведет к моральной энтропии"*. Мало было Панглосу сифона и виселицы - теперь Донец подарил ему еще и несуразную "энтропию", никак не соединимую с его лейбницевской теодицеей. *"Обусловленная причинностью воля"* может у него вести только к дальнейшему совершенствованию человека и мира. И не мог Инквизитор в своей обвинительной речи так перевернуть все учение католической церкви. Может быть, это как-то связано с еврейским акцентом самой инквизиции, агент которой вопрошает: *"А разве я сказал, что вы сказали?"* Но нет, очень похожие фразы отпускают и другие персонажи (*"Как вам это нравится - я к нему цепляюсь"*), пока не переходят на свой обычный советский волапук:

Кандид: Но перспектива соперника...

Панглос: В каком плане?

Кандид: В том плане, что я заберу у него Кунигунду!

Заботливо напоминая нам, что дело происходит на Западе, Панглос в беседах с Кандидом все время прибавляет: *"Мой мальчик"*, как это принято в советских пьесах и фильмах про империалистов. В остальном Панглос неотличим от Кандида, тот - от Кунигунды, а Кунигунда - от Данко из второй пьесы.

В конце концов, так ему, Вольтеру, и надо. Хоть и с опозданием, но еврейская Немезида настигла этого антисемита, доконав его пьесой Донца. Что касается второго шедевра, о Данко, то в целом я ничего сказать о нем не могу. Помню, что очнулся я на совещании какого-то Жреца с двумя другими жрецами - Черным и Белым: *"Нам необходим план взаимоотношений с этим молодым человеком: научно обоснованный, тактически грамотный план и пунктуально доведенный до конца"*. Подвернулась мне еще баба-яга из третьей пьесы, которая сочетает эмзэнзовский слог с народным говорком по Шеварцу. Если бы не этот фольклорный каприз, ее вполне можно было бы выдать за муж за Панглоса или за какого-нибудь другого Кунигунда.....

Когда книга со стуком выпала у меня из рук, я, востропнувшись, увидел на задней стороне обложки рекламное обращение автора, явно навеянное уже Козьмой Прутковым:

"Пьесы, читатель, пишутся не столько для театра, сколько для тебя... Не верь, если скажут, что только в театре пьеса обретает свое рождение: еще неизвестно, что она там обретет. В театре ты платишь только за одну да еще подлорченную ими пьесу, а здесь - шесть нетронутых пьес, готовых раскрыть для тебя свои прелести!"

С одной стороны, вроде бы, все верно - заглянешь ненароком в театр, - а там черт знает что: Чехов или, того хуже, Мольер. На тебе, вяпался. И не читать же их, в самом деле, когда под рукой Донец, раскрывающий для тебя шесть нетронутых прелестей.

Но, с другой стороны, и с Донцом не все ладно. Знаю, пробовал: никакие это не пьесы для чтения. Наверно, для чего-нибудь другого.

Лев Аннинский

ГОРЬКИЙ ДЫМ

"Мы начинали не с кухни московских - с тундры, скорее, и с чахой тайги".

Кроме ветра и солнца, было еще много чего в низовьях Енисея. Его ударили ножом - спасла пряжка на лямке рюкзака. Потом он лежал с карабином у палатки и отстреливался от пьяных



Александр ГОРЮНИЦКИЙ.
Атланты держат небо.
Иерусалим : Изд-во
"Бесседер", 1998.

Начнем с кухни. Он поправит:

работяг, приехавших на тракторе насилловать коллекторшу Нинку. Потом, сам пьяный, шатаясь, он притеривал на голове консервную банку - стоял под выстрелами остервеневшего от ревности соперника. На Кольском полуострове ему (не зная, кто он) показали могилу "того самого Городничего, который "От злой тоски" написал: тут-де он сидел, тут же, в зоне, его и пришили". Из лагеря под Пугой ему (уже зная, кто он) прислали письмо: "Дорогой Александр Михайлович, мы любим ваши песни, особенно песню "От злой тоски...", которую считаем своей... Ежели что - примем как родного".

Все песни Городничего первого, "классического", периода поколение "шестидесятников" знало наизусть. Эти песни бежали по стране магнитной лентой, подхватывались от певца к певцу, поджигались от костра к костру.

И если Городничий и в 80-е, и в 90-е годы продолжает писать песни, то именно в песнях бьется то неразумное сердце, которое когда-то, с первыми ударами ритма, попало в унисон с огромной, подхватившей эти песни страной, шагнуло с ней в такт.



С. В. НИКОЛЬСКИЙ
История образа Швейки.
Новое о Ярослав Гашеке
и его герое.
М.: Индрик, 1997. 175 с.

С Йозефом Швейком, который незадолго до того вернулся с действительной службы, Ярослав Гашек познакомился в мае 1911 года в Праге, на улице Боиште, где находился трактир "У чаши". Свой первый рассказ о "бравом солдате" он написал на его квартире - вернее, даже не написал, а вроде бы надиктовал самому Швейку.

Позднее тот, с присущей ему образцовой скромностью, вспоминал о своей службе в австрийской армии: "Я тут же оказался в числе саботажников и сачков и стал играть умного дурака по принципу "глупостью против военных глупостей". На фронте я прослыл титулованным идиотом. Разумеется, я не умел так гладко проскочить через все трудные ситуации и конфликты, как герой в романе Гашека. У меня не было такого запаса притворства, красноречия и хитрости, хотя и я всегда любил шутку и никогда не посрамил развлечением".

Автор не раз встречался со своим героем и в период мировой войны. "Оба они оказались в русском плену (правильнее бы сказать - перебежали, как

И если объем мироздания, то есть наполнение, атмосфера - это выюга, пурга, дожди, туманы, тучи или - запахи, или - листва, а острее всего все-таки - дым, то очертание мира, геометрия, связь между горизонталью и вертикалью, между солнцем-небом и атлантами острее всего передается у Городничего через "маршрут". Можно спросить: зачем? Зачем покорять пространство? Чтобы бежать от неразрешимости? Но так или иначе, именно эта нота изначально у Городничего: "Все дорога, дорога, дорога..."

Кольцуется маршрут. Путь, устремленный вперед, петлей возвращает человека вспять. Это - Городничий второй половиной 90-х. Так куда ж ты шел, бежал, летел? Новый ответ:

Не быть мне Родиной любимым,
Страны не зная Обетованной,
Но станут в час, когда я сгину,
Замучен мачехою злой,
Строка моя, смешавшись с дымом,
Российской песней безымянной,
А плоть моя, - смешавшись с глиной,
Российской горькою землей.

Из предисловия к книге

Михаил Вайскопф

ГАШЕК ГЛАЗАМИ ШВЕЙКА

очень многие чехи, на сторону русских. - М. В.) и на какое-то время даже в одних и тех же лагерях для военнопленных - в Дарнице, под Киевом, где Швейк заделался поваром <...> Через некоторое время Швейк, как и Гашек, вступил в чехословацкие добровольческие части, сформированные в России, находился в действующей армии. В июне 1917 года он участвовал в боях у Зборова против австро-венгерских войск и позднее, уже в Чехословакии, дважды был награжден за это - первый раз в 1924 году, второй - в 1947 году". Видимо, спустя тридцать лет после битвы ее стратегическое значение неизмеримо возросло. Так или иначе, реальный Швейк относился к своим боевым наградам лучше, чем персонажи Гашека, которые украшали медалями сортиры.

В 1918 году пути Я. Гашека и И. Швейка ненадолго разошлись, но после войны они возобновили общение. Однако Швейк, ставший солидным ремесленником и семьянином, конфузился своего образа, увековечен-



Белочех Йозеф Швейк в период боев за Самару. 1918 год

ного в романе, и в обществе Гашека предпочитал выдавать себя за его родственника. Думаю, что он вообще стеснялся водить компанию с этим сомнительным богемным типом.

Автор исследования, давний сотрудник московского Института славяноведения, сыграл довольно странную роль в истории чешской словесности. Знающие люди рассказывают, что, будучи референтом ЦК КПСС по Чехословакии, Никольский в этой неудобной должности выказал себя, однако, настоящим поборником подпольной культуры и, главное, сумел, на правах "старшего брата", спасти от запрещения книги Гашека и Чапека, приписав им всецело прогрессивный характер (кстати, он редактировал и советские собрания сочинений обоих писателей). В числе прочего, он указал ретивым пражским товарищам, что Гашек был в России не каким-нибудь там белочехом, а коммунистом и красноармейцем.

Увы, с прототипом гашековского Швейка все, оказывается, обстояло совсем наоборот. И, хотя Никольский об этом умалчивает, именно в биографии "бравого солдата" следует, вероятно, искать объяснение того факта, что на протяжении долгих лет настоящий, живой Швейк всячески уклонялся от внимания газет и властей.

Только в 1968, спустя несколько лет после смерти реального Йозефа Швейка, появилась статья пражского журналиста Ярослава Веселого, в которой сообщалось следующее. В то время как Гашек записался в Красную Армию, Швейк остался в чехословацком корпусе и в его составе воевал против красных, причем с осени 1918 - даже в качестве разведчика. Маловероятно, правда, что бы и Гашек был так уж предан кремлевскому большевизму: когда его земляки заняли Самару, он не ушел оттуда вместе с красноармейскими частями, а четыре месяца где-то скрывался, в связи с чем его долго потом муржили в ЧК (чехословацкий эмигрант П. Ган, как сообщает Никольский, доказывает, что в 1918 году Гашек находился в оппозиции, поддерживая левых коммунистов и демократические Советы в их борьбе с централизмом Ленина и Троцкого). Но если Гашек не спешил убраться из Самарской губернии, то ему вовсе не хотелось встречаться и с земляками - белочехами. Никольский пишет:

"Самое поразительное в рассказе Швейка, переданном Я. Веселым, начинается дальше <...> 8 июня 1918 года войска Чехословацкого корпуса заняли Самару. Командование 4-го полка выдало приказ об аресте чехов, служивших в Красной Армии, в том



Ванек



Лукаш

числе и политкомиссара Ярослава Гашека, обвиненного вместе с другими в государственной измене. В случае ареста Гашека ожидал неминуемый расстрел, если не виселица. Соотечественники были тогда скоры и круты на расправу. Ко всему прочему, в середине дня 8 июня пленный красноармеец будто бы выдал, что Гашек (не ушедший, как известно, с частями Красной Армии) скрывается в последнем доме Слободки - предместья Самары. По случайному совпадению, в вооруженную команду, которой было приказано доставить Гашека "живым или мертвым", попал и Швейк <...>.

Швейк с карабином в руках прошел через ворота. Во дворе мужик отбивал кося. А в окне Швейку сразу бросилась в глаза фигура Гашека. При виде Швейка он быстрым движением сунул руку в карман, по-видимому, хватаясь за пистолет. Но Швейк сказал ему, что он здесь не один, и если Гашек немедленно не скроется <...>, то будет арестован. Гашек успел скрыться. До сих пор не пойму, - говорил впоследствии Швейк, - я ему спас жизнь или он меня оставил в живых".

На мой вкус, этой сухой фактосцене недостает сентиментального колорита. Своей несурзностью эпизод весьма смахивает на плагиат из будущего романа.

Понятно зато, что с такими анкетными данными при коммунистическом режиме светиться было опасно, - вот профессиональный разведчик и продолжал конспирироваться. Если раньше Швейк просто конфузился своего анекдотического образа, то теперь приходилось скрывать подлинную биографию. Бывшим legionерам вообще с конца 30-х годов приходилось туго - нацисты их ненавидели за германофобию, за предательство Австрии и переход ко сторону русских в первую мировую войну, а коммунисты - за активнейшее участие в белом движении (тогда как белоземляки не могли им простить выдачи большевикам Колчака). В 1939 году гестапо провело массовые аресты legionеров в оккупированной Чехии - списки были получены из дружелюбного НКВД. Ясно также, почему публикация Веселого появилась только в 1968 г., т.е. во время Пражской весны с ее гласностью и раскрытием тайн. Обо всем этом Никольский не упоминает, что не уменьшает, однако, ценности его исследования. Работая в Пражском Историческом архиве, он сумел документально подтвердить рассказ Веселого и дополнить его многими живописными подробностями. Возможно, читателю будет любопытно узнать, что реальный Швейк, в отличие от своего литературного двойника, дослужился до звания капрала; в этом чине он и перебежал в начале

1916 г. к русским. В конце 1916-го, уже вступив в ряды чешских добровольцев, ефрейтор Йозеф Швейк скоростно принял православие, став Александром Юзефовичем Швейком. Судя по всему, накопленный имидж "титулованного идиота" очень пригодился ему во время службы в разведке у белочехов. Но летом 1919 года, когда ему совсем уже осточертело воевать, он обзавелся богатым букетом болезней и был демобилизован. Через Сибирь и Дальний Восток морем пан Швейк был переправлен на родину, где, позабыв обо всех этих недугах, прожил еще почти полвека и скончался в 1965 году в возрасте 73 лет, на много десятилетий пережив своего литературного демиурга.



Биглер



Сагнер

друзьями, после чего мы с некоторым недоумением и отрадой узнаем, что по существу Гашек вовсе не был жестоким человеком: за всю мировую и гражданскую войну этот разухабистый циник не произвел ни одного выстрела.

В каталоге прообразов значатся, помимо упомянутого Лукаша, капитан Сагнер, старший писарь Ванек, драчливый сапер Водичка, бестолковый стукач Пепка-Прыгни и кадет Биглер. Последний, удививший почему-то в ГДР, лишь в 50-е годы впервые прочитал роман - и методически признал, что его военная служба описана там правдиво. Газету "Еврейский камертон",

возможно, разочарует отсутствие каких-либо сведений о нашем соплеменнике - еврейском богосказателе Отто Каце. Не исключено, однако, что его прототип погиб в немецком концлагере.

Швейк был единственным из пражских друзей Гашека, побывавшим на его похоронах. А в 1955 г. он присутствовал на открытии реставрированного кафе "У чаши". Торговал Швейк вовсе не собаками, а обувью, потом открыл педикюрный кабинет. (Вообще был "мастер на все руки" - еще командант лагеря в Дарнице, полковник Грибоедов, очень хвалил поварские таланты Швейка). Что касается его романного двойника, то он, по замыслу Гашека, должен был оказаться в плену у большевиков и даже попасть в Кремль - одна из заранее разрекламированных, но нереализованных глав так и называлась: "Швейк в денщиках у Ленина".

По реконструкции Никольского, Швейку предстояло затем перебраться в Китай (куда, кажется, собирался и сам Гашек), а уже оттуда вернуться в Прагу. "Ведь это кругосветное путешествие!" - провидчески говорил какой-то склочный дедушка романному Швейку, упорно шедшему в Будайовицы.

Нет, конечно, Йозеф Швейк был не единственным прототипом гашековского героя. Этот комический Франкенштейн смонтирован из нескольких тел. Одно из них принадлежит сослуживцу Гашека, некоему проходимцу, болтуну и любителю анекдотов, носившему имя Франтишек Страшлипка. Он служил денщиком у настоящего поручика Лукаша и перешел к русским (сам-то Лукаш сохранил верность австрийской присяге), прихватив продукты своего хозяина. Словом, как сообщает Никольский, везде и всюду в романе проступают реальные люди - по большей части прямые тезки и однофамильцы героев. Гашек вообще очень охотно вставлял "живых людей" в свои тексты, будучи большим любителем разоблачений, а также мистификаций, зачастую довольно откровенных. Никольский подробно повествует о его издевательствах над женой и

В упрек этой живой и увлекательной книге можно поставить некоторый методологический консерватизм. По инерции Никольский продолжает подчеркивать социальную, т.е. "плебейскую" природу гашековского юмора. Определение крайне скудное и неточное. Даже бахтинский "карнавал" явно представляется ему неуместным новшеством, и он, конечно полемически, указывает на отсутствие параллелей между романом и подлинно фольклорными типажами и ситуациями (а как же чисто фольклорный великан и обжора мельник Балуун?). Более плодотворной мне представляется методика, использованная лет десять - пятнадцать назад израильской исследовательницей Ханной Гайфман, отметившей, наряду с "карнавальным" субстратом, постоянное обыгрывание Гашеком библейских и евангельских моделей в романе: Йозеф Швейк как пародия на ветхозаветного Иосифа (пребывание в тюрьме и у жреца Каца, встреча с любвеобильной подругой Лукаша и т.п.), а равно на Иисуса и святомучеников.

Однако обилие реалий, собранных в книге Никольского, полностью искупает ее недостатки. Я вглядываюсь в фотографии прототипов: все хорошие, человеческие лица. Даже Йозеф Швейк на снимке вовсе не выглядит тем уполительно-забавным "идиотом", каким он выведен у Гашека, - нет, вполне нормальный, осмысленный облик. Басенная мораль, которой я завершаю эти заметки, состоит в том, что карикатура интереснее оригинала, а талантливый текст неизмеримо содержательнее заурядной человеческой жизни, со всеми ее банальными радостями и тревожностями.

А. Беленький

После Айвза, Циммермана и Шнитке термин "полистилистика" используется западными музыковедами не реже, чем "алеаторика", "сериализм", "неоакадемизм", etc... Элементы полистилистики существовали в европейской музыке издавна, теперь же, в разгар эпохи постмодерна, сама ситуация располагает к расширению музыкального пространства за счет скрытых и явных заимствований, цитат, тонких намеков и аллюзий. "Неизвестно, сколько слоёв стилистической полифонии может одновременно воспринять слушатель, неизвестны законы коллажного монтажа и постепенной стилистической модуляции - есть ли они вообще? Неизвестно, где границы между эклектикой и полистилистикой, наконец, между полистилистикой и плагиатом", - писал Альфред Шнитке в 1971 году. В настоящее время ситуация осложнилась: к этой технике обращаются даже те композиторы, которые в прошлом неукоснительно придерживались "одной линии" (например - Лигети). Создается впечатление, что большинство современных музыкальных произведений либо открыто полистилистичны, либо могут быть расценены в качестве таковых - порой вопреки воле и намерениям автора. Музыка Лорина Мазеля, безусловно, относится к первой категории - это коллаж из цитат и псевдоцитат, от барокко до минимализма, где средневековые приемы полифонии соседствуют с американским "блюзовым квадратом" а-ля Новый Орлеан, тема бандониона в духе Астора Пьяцоллы вступает в диалог с пассажами виолончели из третьей сюиты Баха, порождая эффект столкновения временных и пространственных ассоциаций. Называя свою музыку "постапокалиптической", Мазель прямо указывает на то, что Апокалипсис мы прозевали и живем как бы "за гранью" случившегося: все, что могло произойти с человечеством, - уже произошло, актуальны лишь проблемы отдельного человека.

"В этом сочинении я старался сохранить за словом свободу. <...> Именно Канон ясно показал мне, что выбор того или иного языка может предопределить характер произведения до такой степени, что текст во всей своей комплексности может подчинить себе полностью музыкальный строй композиции, если только дать ему возможность "творить музыку" <...> В результате мой "Канон Покаянный" и в самом деле пропитался этой особой, нигде, кроме церковных текстов, не употребляемой славянской речью", - так звучит краткая характеристика самого композитора. Что касается текста - он известен уже в древнейших славянских рукописях церковных книг, где носит название "Канон покаянен по вся дни и по вся часы". Предание связывает его с именем Святителя Андрея Критского (ок. 660 - 740 гг.). Канон - это песнь поворота и перемены. В системе церковной символики это перемена на границе между ночью и днем, Ветхим и Новым заветом, пророчеством и исполнением, потусторонним и здешним. В переживании человека это означает грань между человеческим и божественным, немощью и силой, страданием и Спасением, тленностью и жизнью вечной.

По материалам Universal Edition Wien

Лорин МАЗЕЛЬ

Сочинения для скрипки,
виолончели и флейты

М. Ростропович - виолончель;

Дж. Гэлуэй - флейта;

Л. Мазель - скрипка.

Симфонический оркестр "Баершвен

Рундфунис" п/у Л. Мазеля

BMG classics, 1998.



Арво ПЯРТ

Канон Покаянен

*Эстонский филармонический
камерный хор п/у Тену Каюста
ECM NEW SERIES, 1998*

ARVO PÄRT KANON POKAJANEN

ECM 1024

Summary

The third issue of *Solnecnoe Spletanie* develops the trends outlined in previous numbers of the journal: objective mirroring of the complex Israeli reality in art; open-mindedness; and vivid dialoguing with the reading audience. More attention is drawn here to works of young designers, painters and photographers. What is even more characteristic of the issue is the growing number of authors that apply a wide range of artistic techniques, styles and media.

Prose and Essays:

In the genteel essay 'London as it is not' by Dina Alperovich, travel impressions intermix with the amiably fostered a priori image of the city. Entering the long anticipated locale the character goes through emotions of recognition and denial toward what the city chooses to show her.

Natalie Bershadsky's novel 'Turgenev' depicts a moving and sentimental experience of a youth living through a pulsing scene from a classic book. The world seen through the eyes of a child is a locality of another novel by the author - 'A Carefree Walk'.

We cordially host in this issue the recent débutante on the Israeli literary arena Tatiana Akhtman with her 'Four Etudes'. Deliberately simplified realistic motifs and themes in her writing are developed with drive and ability and remind of best pieces of the Russian female prose.

Reflections on the notion of memory, introspection to the nature of human perception and cognition are at stake in the philosophical speculative essay 'Perpetuum Mobile' by Dmitry Deutsch.

Evgeny Gelfand's novel 'From the Daybreak to the Sunset' is a monologue of a harsh urban youth: the alert and militant boy expresses a unique and keen view of the surrounding setting.

In his writing 'Death after Death' Alex Mukh reiterates the classic model of the 'love triangle' tragedy. The editorial board presents this prosaic piece as an authentic reflection of life of Israeli moral and social outsiders.

'Two Deaths' by David Dektor is a stirring fragment of the combat story told by a medical aide.

Poetry:

Peter Ptakh contributes to the issue a poem written in the form of a diary: this compendium is built of disconnected scientific facts, memorized lines, and physical desires, briefly, of almost any - artistically digested - thought and image popping up in the consciousness of the poet.

The poem by the renowned Israeli poet Michael Gendelev develops a unique (for Russian poetic tradition) genre of 'quarrel with God'.

Demian Kudryavtsev builds his poetic piece on sophisticated allusions to the novel 'Samson' by Zeev Zhabotinsky.

Interview:

The series of interviews with renowned rock-musicians of Russia continues with the talk of A. Motkin and N. Mozgovaya with the recent visitor of Israel, Yuri Shevchuk, nation-wide recognized leader of St. Petersburg rock-band DDT.

Analyses'n'Arguments:

A study by A.Gerasimova, 'Centonic Poetry as a Phenomenon of Totalitarian Thinking', investigates intrusive elements of Soviet ideological and verbal cliches interpreted with grotesque and a taste of absurdity in the poetry of eminent modern Russian authors - Kibirov, Sukhotin, Eremenko.

Translations:

The beginning fragment of the post-modernist novel 'Guttapercha' by the popular Israeli writer Yoel Hoffman (translated by Victor Kuperman) introduces the perplexing world of Austrian olim: people, dreams, travel notes, gland secretion, witchery, dying - all dwell in the realm of Hoffman's imagination.

Critique:

Anna Reznitskaya's survey of the modern female prose 'The Soft, The Feminine' is a merciless parody written in the spirit and the letter of the poor wanton female writing. 'The Poet and The Czar' by Evgeny Soshkin is a critical response to the new collection of Mikhail Gendelev's poetry *The Czar*. Bellicose motifs of the Iliad, the dominant figure of the wandering king Odysseus, Mediterranean scenery, willingly marginal position of the bystander - these classical attributes adopted by Gendelev anew decorate his acoustic butterflies with genuine uniqueness.

Also, in this issue M. Bar-Maley presents a sharp-witted and sharp-tongued criticism of A. Lyubinsky's 'Fabula. Selected Texts' and Avi Dan's 'Fin de Siecle'. Michael Weisskopf reviews the recent publication of Nikolsky devoted to prototypes of the famous characters in 'The Adventures of the Brave Soldier Švejk' by Hašek. A. Belen'ky reviews two new albums of orchestral and choral music by Lorin Maset and Arvo Pyast respectively.

Art:

Pieces of visual poetry by Alexander Zelinsky explore semantics of sacral symbols. Autonomous being of a sign - be it a structuralist item or a graphical component of the visual text - is in the focus of his inventive research.

Tatiana Shakhnanina's work cannot but please one with its air of coziness and warmth. The artist experiments with diversified materials in her compositions (wax, among others), which provides her aesthetic pursuit with a distinguished quality.

תרגום:

לכבוד הוא לנו לפרסם את התרגום הראשון לשפה הרוסית לשיריו של פאול סלאן – משורר כותב גרמנית. התרגום נעשה על ידי לילית ז'דנקו-פרנקל אשר הצליחה להעביר את האיכויות השיריות במלואן – שמירה על ההתאמה הבלשנית כמו גם על האמנותיות וזאת מבלי לאבד את מקצב הנעימה השירית.

הקטע הפותח של הרומן 'גוטפרשה' מאת הסופר הישראלי המצויין יואל הופמן (בתרגומו של ויקטור קופרמן) חושף את עולמם המורכב של עולים אוסטרים בשלהי שנות הארבעים: אנשים, חלומות, רשמי מסע, הפרשות הגוף, כישוף, מוות – הכל שוכנים בממלכת הדמיון של הופמן.

ביקורת:

המאמר של אנה רוניצקיה 'רך', נשי על ספרות הנשים המודרנית הוא פארודיה אכזרית. רוניצקיה כותבת בלשון מופקרת ומתייפית כיאה לז'אנר.

'המשורר והצאר' זהו מאמר ביקורת מאת סושקין לספר השירים החדש מאת מיכאל גנדלב – 'הצאר'. גנדלב מקשט את ה'פרפרים האקוסטיים' שלו בדימויים מכתבתו של הומרוס לתיאורם של מצבים מתוך ההווה הישראלית. אנו יכולים למצוא בשירתו את המוטיבים של הקרב מן האיליאדה, את דמותו הדומיננטית של המלך הנווד אודיסאוס ונופים ים תיכוניים.

בנוסף, בגיליון זה מובאת ביקורת חריפת לשון מאת מ. בר-מלי על 'פאבולה'. טכסטים מובחרים מאת א. ליובינסקי ו'קץ העידן' מאת אבי דן. מיכאל וויסקופף מבקר ספרו של א. ניקולסקי המוקדש לפרוטוטיפים של הדמויות המרכזיות ב'הרפתקאות החייל האמיץ שוויקי'. בתחום הביקורת המוזיקלית מובאים בגיליון זה סיכומו של א. בלנקי לשני אלבומים חדשים של מוזיקה לתזמורת ולמקהלה של לורין מסל וארבו פיאסט. אלכס מוך סוקר את החידושים האחרונים בממלכת מוסיקת הרוק.

גלריה:

יצירות השירה הויזואלית של אלכסנדר זלינסקי חושפים משמעויות של סמלים מקודשים. האוטונומיה של הסמל – האם זהו פריט מבני או מרכיב גרפי של הטכסט החזותי – זהו מוקד המחקר שלו.

טטיאנה שחינה, יוצרת בסגנון אסתטי, ילדותי ופרימיטיבי, מצליחה לבנות אווירה ביתית וחמה עבור המתבונן. האמנית עורכת ניסויים בחומרים שונים (ובכלל זה בשעווה) המשנים את צורתם ויוצרים איכויות אסתטיות מרתקות.

הגיליון השלישי של 'מפתח הלב' ממשיך להתפתח ברוח המטרות שהצבנו לעצמנו בשני הגיליונות שקדמו לו: פתיחות המחשבה, השתקפות קשרי הגומלין התרבותיים של הכותבים עם ישראל והישראליות וקיום דו שיח פורה עם קוראינו. בגיליון זה הושם דגש מיוחד על יצירות מתחום האמנות החזותית. כמו כן בגיליון זה ניתנה יריעה רחבה לרשמים, תגובות וביקורות על מה שקורה כאן ועכשיו.

פרוזה ומסות:

'לונדון כמות שהיא לא' זוהי מסה מעודנת מאת דינה אלפרוביץ'. המסה אשר כתובה בצורת רשמי מסע מתארת את התמודדותו של הגיבור הראשי עם הפער בין תפיסת העיר כפי שטופחה בדמיונו לבין המציאות שהעיר בוחרת להראות לו, התמודדות אשר מטלטלת את הגיבור בין תחושות של הכרה והכחשה.

בגיליון זה מובאים שני סיפורים מאת נטליה ברשדסקי. בסיפור 'טורגנייב' מובא פן מרתק של הקשר בין הסופר והיצירה לבין הקורא. הסיפור מתאר את חוויותיה של מתבגרת בעת קריאת רומן קלאסי. הסיפור 'טיול נטול דאגות' מתאר את האופן בו ילד רואה את העולם הסובב אותו.

בגיליון זה, אנו שמחים לפתוח את שערינו בפני יוצרת חדשה בזירה הספרותית – טטיאנה אחטמן. אחטמן מרבה להשתמש בכתיבתה במוטיבים ריאליסטיים ויצירתה 'ארבעת האטיוודים' מזכירה את כתיבתן של מיטב היוצרות בשפה הרוסית.

ביצירתו הפילוסופית 'פרפטום מובילה' דמיטרי דויטש דן במושגים יסודיים כגון זמן וזיכרון תוך התבוננות עצמית.

הנובלה מאת יבגני גלפנד 'מזרחיה עד שקיעה' היא מונולוג של נער קשוח ותזזיתי בכרך הגדול. ביצירה זו בולטת ראייה ייחודית וחרिפה של הנער את סביבתו.

ביצירתו 'המוות שלאחר המוות' משתמש אלכס מוך במודל הקלאסי של טרגדיית ה'משולש הרומנטי'. מצאנו לנכון לשלב את הנובלה בגיליון זה בשל האופי הריאליסטי והחושפני בו מתוארים אנשי השוליים של החברה הישראלית.

'שתי מיתות' מאת ד. דקטור הינו סיפור מרגש של החובש הקרבי.

שירה:

פטר פטך תורם לגיליון זה פואמה הכתובה בצורת וימן. הוא מצרף עובדות מדעיות שונות להגיגים ותאוות גשמיות משל עצמו ומעבד בצורה אמנותית את כל אלו לתמצית אחת.

הפואמה מאת המשורר הישראלי הידוע מיכאל גנדלב מפתחת את הזיאר של, זיכוח עם אלוהים' (ייחודי במסגרת התרבות הרוסית).

דמיאן קודריאבצב מבסס את שירתו על הרקע הקונטקסטואלי של הרומן 'שמשון' מאת זאב ז'בוטינסקי.

ראיונות:

אנו ממשיכים את סדרת הראיונות עם כוכבי רוק רוסיים בשיחה שקיימו א. מוטסקין ונ. מוזגובאיה עם הסולן יורי שבצ'יק שביקר לאחרונה בישראל.

חקר הפרוזה:

המסה של א. גרסימובה 'השירה הצנטונית כתופעה של החשיבה הטוטליטרית' בוחנת את חדירתן של קלישאות אידיאולוגיות ומילוליות סובייטיות אל שירתם של יוצרים בולטים ברוסיה המודרנית כגון: קיבירוב, סוחוטין וירמנקו.

Ноябрь-декабрь
1998

РЕДАКТОР
Михаил Вайскопф

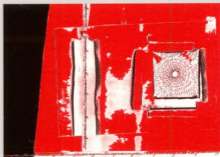
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА
Евгений Сошкин

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ
Инна Песенка
Петя Птах

ДИЗАЙНЕР
Виталий Чирков

КОРРЕКТОРЫ
Лена Драгицкая
Оля Звенигородская

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
Марк Галесник



Адрес редакции:

SOS
P.O.B. 3233 Jerusalem
91030 Israel

Телефоны:

02-6232852, 052-624568
(с 18.00 до 22.00)

e-mail:

beseder@galanet.net
For SOS

Дизайн © Beseder Ltd

Отпечатано в типографии
Hemed print Ltd

кал Ма

Сам

Молодежный журнал Молодежный журнал Молодежный журнал

Молодежный журнал Молодежный журнал Молодежный журнал